

# ВАЛЕНТИНА СИДОРЕНКО

СИБИРИАДА



Корни кузнеца

Сибиряда

Валентина Сидоренко

**Корни кузнеца**

«ВЕЧЕ»

2025

УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Сидоренко В. В.**

Корни кузнеца / В. В. Сидоренко — «ВЕЧЕ»,  
2025 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-5594-0

Роман известной сибирской писательницы посвящен сибирякам, их непростым судьбам, прослеженным на примере нескольких поколений крестьянского рода, начиная от переселения в Алтайские земли в XIX веке, через смуту русских революций, сквозь мировые войны и вплоть до полета первого человека в космос. В книгу также включена повесть «Крах», в которой переплетаются судьбы людей, живущих на берегах Байкала в наши дни.

УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-5594-0

© Сидоренко В. В., 2025  
© ВЕЧЕ, 2025

# Содержание

Корни кузнеца	6
Книга 1. Исход	6
Книга 2. Пути и перепутья	39
Конец ознакомительного фрагмента.	57

# **Валентина Сидоренко**

## **Корни кузнеца**

© Сидоренко В. В., наследники, 2025

© ООО «Издательство «Вече», 2025

\* \* \*

# Корни кузнеца

## Книга 1. Исход

Кузнец Сидор Савинов пришел на Алтай перед самой Казанской. Светились ещё останцы и густой отстой отсыревших покровов земли сшибал дух по утрам, скользил по коже и неприятно знобил.

«Однако сыро, – думал Сидор, – пшеничка, пожалуй, плохо тут родит! Ржица ещё туды-сюды...»

– Тебе чего пшеница, – заметила ему в мысли супруга Параскева. – Тебе стучи да стучи, да звякай...

– Куды ты лезешь, баба!.. Со своим куриным разумением. Пшеница не туга, скот захиреет, тело не нальется. Кто жити будет?! Кому стучать?! Кому подковывать!

«Живут же и тут», – подумала Параскева, но промолчала. Сидору-супругу отвечать – себе накладнее. Шея-то своя, не казенная...

Параскева устала. Вроде и ничего бабёнка, тягловая, но она с семейством шла с обозами уже с годок, прямиком за круто изгибистой мускулистой спиной супруга. Сыновья жеребками носились вокруг обозов, которых Сидор менял по той пословице, как баба пятницы.

Два воза Савиновых тянулись всегда к обозам хвостом, и припозднилось семейство, по тому обыкновению, что ушлый кузнец таборился на росстанях, чтобы ни с какой сторонки мимо него ни обоз, ни возок не проехал, и зарабатывать на дорогу кузнечим ремеслом. И серебришко звякало, и ушлый кузнец всё пытал, как и чем живет народишко и много ли кузнецов по селам. Думал-смекал, где пристать...

Семейство Савиновых вышло из Чернигова по государевому указу почитай год с носом назад. Разговоры о переселении мужиков с насиженных мест к черту в турки шли давно. Вначале ползуче, потом сходки собирали. Сидор не трепыхался. Ему и в Чернигове жилось не вприглядку. Господь здоровьем не обидел. Крепкий, в жгут скатанный корешок. Ремесло знает. Дом есть, землицы хватает. Кузнецов, конечно, в Чернигове развелось, что мышей, но у Сидора был свой рядок, который кормил его, ино и на зависть...

Всех замутил Касьян Шестак. Этот косоглазый балабол и табашник всё плел сказки про неведомые края несметных богатств, где уделы даже на девок нарезают. Бери скольк влезет. Мужики поперву посмеивались только, а когда на слободском сходе сам урядник прочитал царев указ, да посулил подъемные, многие приумолкли...

Зачесал затылок и бывалый кузнец Сидор. Трепыхнулась и в нем затаенная до времени мыслишка. С Рождества его всё пьянило и потряхивало. А тут ещё братец Кузьма пристал: пора делиться. А кого делить?!

А народ уже отъезжал. Бывало, что и самостийные пошли в Сибирю... крепкие. Ну и рубанул Сидор ладонью... Собирайтесь. Слезы потекли у Параскевы из глаз... Но она слова не молвила.

По слободе с ними вышли ещё три семьи. В доме родимом Сидор оставил старуху-мать да брата с семейством.

– Володѣй, – сказал и попер за возами своими, не оглядываясь.

Параскева же глаз не отрывала от дома, где она родила троих детей, на садик с вишнями и яблоньками и дулею... Рушники, ею шитые, скатерки вязаные... Остевков нашла на все рубахи... Всё в сундуках оставила... Оно и жалко... хоть и грех жалеть... На всём её руки и память...

В первопутке ещё весело шли. Сыновья – двое, темноглазый Пантелей, такой же гнучий, как мать, и лобастенький, прыткий, как козленок, Иван, бежали впереди обоза. Параскева держала маленькую Варвару на руках, зорко взглядывала на сыновей, кабы в лесу не упрятались.

– Не балуйтесь по лесу, – страшала она, – волки задерут!

Веселье-то быстро закончилось. Ушлый Сидор смекнул, как путь-дорогу в копеечку обернуть. И поплыли мимо них столыпинские обозы...

– На обустройство, – уговаривал Сидор супругу, ссылая монету в кису. – Кто же ведаёт, что нас тамока ждёт!..

«И где это тамока?!» – думала Параскева, но молчала.

Эту кису с серебришком у Сидора спёр шепелявый нищий, назвавшийся Аверьяном, шустрый и серый, как мышь. Он прилепился к возам, что банный лист к заднице. Всё с Варькой играл. Параскева и повелася, страх потеряла... Доверилася. А утром перед самой Москвою встали, а Аверьяна с кисою и след простыл. Ищи-свищи, страдалица. Пришлось другую кису собирать... Поплыли обозы мимо Савиновых. Раздувает Сидор походный горн на росстанях...

А тут пришла беда. Занедужила дочка Варюшка... Горела-горела и в самой Москве померла-погасла. Параскева едва разума не лишилась. Даже Сидор воскорбел. Схоронили дитятко тихо, едва место на погосте заброшенном выпросили. Параскеву едва отодрали от могилки...

Сидор ушёл в управу в тот день и выправил грамоту в Сибирь. До того они шли в какой-то Алтай.

– В Сибирь в кандалах гонют, – говорил он. – Своей волей в Сибирь не ходят...

И попёр Сидор-кузнец напрямик в Сибирь за кандальниками. Как ни крути, а впереди шли этапы арестантов. Пусть поодаль ино обоз и видел сиротинок...

«От судьбы не убежишь», – думал Сидор, разворачиваясь на росстани.

– Люди поди уж отстроились на новом месте, – как-то недовольно заметила Параскева, видя, что супруг собирается вновь отстать от очередного обоза.

– Цыц, курица! На какой шише строиться собралася?

Параскева почуяла себя тяжелой и молила Бога как бы не скинуть.

Сыновья молчали. Они заметно подросли за поход. Пантелей зарумянился и стал похож на мать. Иван же сшибал на Савинову породу. В кряж шёл...

От Канского острогу до Нижнеудинского шли месяцами. Дороги накатанные, но по ночам темно, как в преисподней. Ушлый Сидор у местных казаков взял за работу табаком да выменял у рязанских переселенцев табак на добрые тулупы. Добро шли, справно. Сибирь, однако, ему не показалась. Большая, нравная, ночью морозом калит, днями – хоть парься. А тайга! Где ж с нею справиться?!

Под весну Параскева разрешилась девкой. Она чуть умом не тронулась от радости: Бог одну взял, другу дал... Она даже расцвела от счастья.

«Чего дура-баба радуется, – думал Сидор, глядя на жену. – Девки ить! Кто на нее земли отрежет?! Да ещё приданое ей собирай... Мне хлопцев надо! Дубков молодых, сподручных...»

За лето почитай всю Сибирь прошли, а Сидор всё не выбрал место упокоения. В Иркутске окрестили дочь Матроною, и надо было грамоту править...

Сидор вышел утром на берег Ангары, и жуть хватанула его. Господи боже ты мой, это ж как на такой реке жить?! Летит, как бешеная. Волны от толщины зеленые, одним крылом задавит, сшибет, глазом моргнуть не успеешь...

Нет, не пришлося ему Сибирь. Тьма-тьмущая, волки, таких рек сроду не бывает. В Холландии у них всё степенно, благодно – омутки, пруды, садочки...

Пошёл в управу, переправил грамоту на Алтай...

На Алтай-то Савиновы и прибыли к самой Казанской. Сидор затаборился на ночлег на берегу мелконькой речки, ласковой, говорливой, как дитя, с обвалистыми мягкими бережками.

Пока Параскева гоношила кулеш к ужину, заправляя его желтым салом, Сидор вышел на бережок реки.

Млели остатные осенцы, и последнее тепло лучилось кротко, исходило жемчужным светом от серых, взбитых в барашек тучек, от речки со странным прозвищем Чуманка. Всё это приятное, неспешное, негромкое так напомнило Сидору родину, слободу черниговскую, мать с крынками. Странная, не свойственная его натуре грусть, змеино вползла в его сердце. За весь долгий путь он и не вспомнил о черниговской своей слободе и ни разу не пожалел, что тронулся в этот путь... А тут он вспомнил о покойнице-дочке – и слеза прошибла его очи, и мать вспомнил, и отцов дом, и брата...

«Дойду до Баева и встану, – подумал он, оценивая степь вокруг. – Успею ешо надел поди вспахать».

К утру заметелило, взвыло, повалил снег, и утром степь предстала перед ним белая-белая, что тебе ангел с парящими крылами, речка застеклилась и мерцала серебром. «Однако хорошо», – подумал кузнец.

К утреннему кулешу к семейству подкатил местный народец из стольшипинских поселений. Встали все перед старостой, как он назвался, Афанасием, мужиком возрастным, степенным, бородатым, как старовер.

– Откель? – спросили его.

– Черниговские мы...

– Хохлы! Чем кормитесь?

– Кузнецы!

– Слава тебе, Господи... Дождалися! Слышь, мужики, кузнец прибыл...

Поселяне радостно загорготали, потянулись к Сидору с кисетами.

– До Баева хочу добратся, – предупреждающе заявил Сидор. – Там уж осяду...

– Кто ж тебя пустит! – серьезно вздохнул Афанасий. – Мы два года без кузнеца. Лошадь подковать за три села едем... Тебя сюда Бог привёл. Тако и устраивайся, а мы подмогнем... Не сумлевайся!..

– А церковь здесь есть? – робко спросила Параскева.

– А как же! У нас такой поп, всем попам поп.

– Будет тебе, отец, – тихо попросила Параскева. – Находились. Деток умаяли.

То ли утро такое выдалось, то ли устали Савиновы, но Сидор вдруг понял: «Приехали, видать, в эту землю лягу...»

За его спиной темнело становище, окопавшееся ещё наспех, абы как... Крыши под соломою, хатки низкие... Это пришельцы. А перед тем они проезжали крепкое село, коренников, заплоты сосновые, крыши под дранкою, окна сверкают на солнце, что тебе алмазы. Поля чистые, амбары темные... Народ угрюмый, правда, неприветный, а бабенки ладные, цветастенькие, как матрешки...

«Глядишь, и мы отстроимся, – нежданно для себя подумал кузнец. – Были бы руки...»

\* \* \*

Афанасий Васильев, староста Чуманского поселения, мужик рассудительный, неторопливый, редко ошибался в людях. Одним из первых пришел в Чуманку, обустроился. Он и назвал поселение Верхней Чуманкою, отбирая пришлый народец по ремеслу, дабы было жить сподручнее. Ему, конечное дело, помогал поп Никодим, с которым они ладили церковь, назвав её во имя Петра и Павла. Афанасий, бывало, решал да строил, а батюшка благословлял да молился о благом завершении дела. Так они вдвоем управляли разрастающимся поселением.

А оно обрасталало со всех концов матушки России. Ехало крестьянство и из Тамбова, из Рязани... Хохлы гнали возы впереди себя и ставили плетни вокруг мазанок. Северян было

мало, у них на роду своих земель хватает. Но кое-кто и селился здесь, на Алтае. Это был редкий гость, купеческий. Они везли обозами белорыбицу, севрюгу с трескою да пушнину... Но и задержались на Алтае.

Купцы жили наособицу, спесиво, напоказ. Хоромины ставили теремами. Обряжались в меха, бабы сверкали золотой серьгой... Им кланялись издаля, но не любили. В поселении никто никого не любил, а все тосковали смертно по своим корням и родине...

Глянув на Сидора, Афанасий четко установил: свой будет! И надобный... Ишь как ноги крепко, широко расставил... Ровно вращает в землю. Этот укоренится...

И то, помогли Сидору поселяне. Помнили своё начало. А кто что мог тащили. Земли нарезали вволю, не считаясь с душами, на Матрону тоже нарезали удел. А когда Сидор развернул кузню, отстроив с сыновьями привычный покровчик над нею, то к нему потянулось всё селение, включая купца Устина Молотова, архангельского помора. К нему в батраки и пристроил Сидор первенца своего Пантелея. Договорились за год по дойной корове, да мелочи по гурту небольшому.

Иван ушел к старожилам зарабатывать коня с кобылою...

Горн разговлялся с зарею, вокруг уже стояли телеги, распрягали коней, ждали очереди, укрываясь летом от жары под телегами, зимою на телегах под тулупами. Ждали из ближних поселений и деревень. Серебришко звякало, Сидор работал без устали, чтобы нанять самому работников пахать отведенный Савиновым целик. Иногда подсказывали сыновья, тогда работа спорилась.

Отзимовали. Летом Параскева развела огородину. Осенью поселяне собрали помочи. Все лето Параскева припасала харч. Наварили медовухи, Сидор съездил в Баево, купил боровка годовалого. Сало наклали горками. Ночью поселянки испекли хлебов. Собралось всё поселение. Сруб поставили на заре, днем сбили полы, ставили окна. Печь сложил рязанец с сыновьями. Недели не прошло, как Сидор прошёлся по новеньким, гладко обструганым половицам, притопывая сапогами, ровно проверяя дерево на крепость. За ним вползла уже начинавшая ходить Матронка и, пошатываясь на чуть кривоватых ножках, пошла к красному углу. Параскева заплакала от счастья...

Гуляли на новоселье всем поселением. Знать поселения почтила кузнеца Сидора своим присутствием. Пришел сам Устин Молотов с бутылью самогона. Одарил кузнеца телушкою. Прибыл и Афанасий Васильев, привел козочку... Пришел и всем попам поп... Поп Никодим ещё нестарый, только проседь пробил темные виски, и впрямь попам поп – благообразный, дородный, росту в два Сидора... Сам кузнец попов не любил, считал их лодырями и мошенниками, но терпел. Куда деваться! Народ признает, Параскева каждую минуту последнюю копейку в церковь тащит...

Поп освящал неторопко, степенно... Народ крестился и подставлял лбы под святую воду. Сидора отец Никодим окатил, как из ведра. Тот чуть не заматерился, но только крикнул.

– Ишь как черти-то коваля мучают, – шепнул староста Афанасий Устину Молотову.

– Кузнец! – подтвердил Устин. – Они сроду беззаконники!

Столы сколотили во дворе. Устина посадили во главе стола рядом с хозяином. Светили шелкóвые осенцы, с ещё не облетевшей листвою, и солнце играло на пышных, румяных хлебах и пирогах, отливало на яблоках.

Гости пили и ели на славу, много, шумно, сытно. Холодец варили соседи, хворост пекла сама Параскева, и его с веселым хрустом уминала молодежь. Ей по старинке отводилось место в конце застолья, у самых ворот, и Параскева грустным оком заметила, что Устиния, дочка Молотова Устина, всё соседилась рядом с Пантелеем, её первенцем, и не стыдясь кормила его со своей чашки. Сам Сидор того не замечал. Его вздрычил поп Никодим, когда спросил: «Что же ты, Карпович, лба не перекрестил во время молебна?»

– За меня есть кому молиться! – угрюмо ответил кузнец. – Хозяйка лоб разбила!

– А сам-то ты?!

– Ты кушай, батюшка, кушай. Давай вот самогончику подолью. Сладкий самогон-то. Сам по нутру льется...

Отсидев положенное, первыми удалилась знать. Молотовы встали по-царски, оглаживая бороды.

– А что, кузнец, Лисье урочище ты ещё не пахал?

– Да где ж мне. Сыны батрачат, где ж мне...

– На днях сына тебе отошлю да ещё работника. Паши урочище-то... Твое будет.

– Премного благодарны, Устин Поликарпович, премного благодарны.

Сидор было согнулся в поклоне, и тут ему словно лом в спину вставили, заклонило так, что разогнуться он уже не смог. Виновато ощерившись, кузнец поднял свою бусую от седины бороденку, и священник, который шел во след за Устином, недовольно подумал: «Ну бес и бес!» – и, не сказав ни слова, перекрестил Сидора.

– Рано уходите, – вдруг встряла молчаливая Параскева. – Посидели бы ещё...

– Забота есть, – вздохнул Устин, – сваты завтра будут. Купцы из Баева. Придется встретиться...

– Устю выдаете? – Сидор ухватился за поясицу.

– Чего ж сидеть-то... Когда-то надо и сготовить замуж девку, – ответила с напускной печалью сама Молотова. – Засидится в девках, потом кого. За вдовца выдавать...

Сама Молотова, как говорится, поперек себя толще, высокомерная, что индюшка, наклонилась перед кузнецом.

– Благодарствуйте, Сидор Карпович, за угощение. Холодец отменный...

– Почёл за честь, за честь, – не разгибаясь, простонал кузнец.

Купчиха степенно проплыла мимо Сидора, не удостоив взглядом хозяйку. За нею прошел поп, перекрестив Сидора, отчего он чертыхнулся внутренне и выпрямился. Устинья сиганула за родителями и оглянулась на Пантелея. Хлопец покраснел, как рак, и опустил глаза.

Устинья Молотова – дочь богатого купца Устина, не славилась красотой, даже богатые уборы не больно-то красили ее. Но от женихов у нее не было отбою. Богата на язык, находчива, обхождение со всеми знает. Её ярые очи глядели въедливо, нос утиный чуял за версту свою выгоду. Ходит она, как цыганки, – бедром вперед и как-то странно её походка заворачивает. На неё оборачиваются на ярмарках.

Старый Устин баловал дочь, он бы ещё подержал её в доме, но настаивала супруга:

– Избалуется девка. Ино поперечная вона. Своё гнёт, а как попортится. Сраму не обещаться. Отдай купцам, пуцай им нрав показывает.

Устя, которую по-домашнему кликали Утей, слышала разговор родителей, но пропустила его мимо ушей. Отец любил дочь, и она пользовалась его родительской слабостью. Купцы приезжали уже дважды, но Утя сказывалась болящей, отчего по краю пошёл слухок, что на купцову девку порчу навели. Сейчас Утя глядела из окна своей светлицы на батрака Пантелея. Уж больно по сердцу пришелся ей этот робкий, услужливый паренёк с глубокими и темными, как омут, глазами. Особенно по нраву было Уте, как краснеет Пантелей при участившихся от смекалки хозяйки как бы нечаянных встречах... А её тянуло к нему, и никаких купцов ей не нужно было. Но уж больно робок Пантелей. Утя так к нему и так – молчит, а пальца к ней не протянет...

Выждав времечко, когда батрак пошел на скотный двор поить телят, Устинья нырнула через другое крылечко туда же.

– Паня, – тихо окликнула она хлопча.

Пантелея словно в землю вкопали.

– Пантелеюшка, подь ко мне.

Утя стояла за воротцами и сама полыхала зарёю.

– Поди, боишься меня! Не страшися. – Она шагнула к нему, положила руки ему на плечи. Они стояли рост в рост, рослые, глазастые. Ярые очи девицы были полны влаги и нежности. Она поцеловала его. Пантелей испуганно оглянулся.

– Чего ж ты всё боишься?! Ничего не страшися. Выходи вечером на покос... Я там буду... – И исчезла.

Вечером они встретились и пошли по отсыревшему покосу, взявшись за руки. Уже несло снегом... Низкое небо клубилось иссиними тучами, порывы ветра кололи лицо. Спрятались за скирду. Пантелей снял свой полушубок, бросил на стерню под скирду.

– Глупой! Ты мне живой нужен и здоровый, – засмеялась она, подымая полушубок. – А больше мне никто и не нужен. Тока ты... На всю жизнь.

Долго стояли, прислонившись к сену, пока не повалила мелкая крупка снега.

– Утром все выбелит, – сказала Устинья. – Пойдем, не то мои хватятся... Да поцелуй же ты меня!

На другой день Устин Молотов рассчитал своего батрака Пантелея. Хлопец увел домой коня и двух дойных коров. Сидор встретил сына у ворот Молотовых. Он видел, как Пантелей оглядывается на окно высокой светлицы Устиньи, которая смотрела вослед Пантелею.

– Не бери жену богаче себя! – вдруг внушил он сыну. – Попрекать будет. Она девка язвкатая, нравная... Подкаблучником будешь!

У Молотовых уже был сговор сотворён на Устинью. В Баево отдавали, богатым купцам. Вечером, уже по большому снегу, Устинья выждала Пантелея: «Погодь, я сейчас», – сказала и вышла с узлом в руках. Пантелей обомлел.

– Теперь уж всё, – махнула рукою Устинья. – Кого ждать... Чё уж будет... Пушай.

В дом кузнеца вошли тихо. Увидав Устинью с узлом, старый Сидор остолбенел, из рук Параскевы вылетела деревянная ложка.

Парочка повалилась на колени.

– Тятенька, мамонька, простите нас, – выпалила Устинья.

Кузнец сел на табурет. Он онемел. «Во как, уже и тятенька», – подумал он.

Тяжелое молчание нависло в горнице. С одной стороны родство неплохое, с другой – рази так ступают? Устин сожжет поди кузнеца!

А Параскева, глядя на нежданную невестку, подумала: «Нос у неё, прям утиной... Утя ить...»

– Чё по-христиански не могли? – Сидор понимал, что надо проявить строгость, показать характер. Он не знал как себя вести. Он, старый кузнец, не мог ещё утром допустить, что Пантелей, его первенец, послушный и работающий, который сроду поперёк слова не сказал, такое коленце выкинет. Не будь невеста дочкою такого богатого и важного гордеца, Сидор бы метлой прогнал эту своевольную девку. Но приходится считаться с Устином, не то, глядишь, и опеть в дорогу... Едва ведь обустроился...

Молодых положили раздельно. Утю – в комнату Матронки, а Пантелея ночевал в кузне. Ранним утром по свежему снежку Сидор с Параскевою протоптали тропку к воротам Молотовых. Шли крадучись, как воры... Собак ещё Молотовы не запирали, но ворота были не заложены.

– Устю ждуть, – решила Параскева.

Молотов вышел во двор сам, прокричал:

– Кого черти несут?

– Своих! – петушком от волнения ответил кузнец.

– Свои все дома!

– Да нет, одну потеряли!

Тут Молотов широко распахнул ворота. Он стоял в полушубке овчинном, из-под которого виднелось обвисшее исподнее. Волосы на голове его всклокочены, лицо такое свирепое,

что Параскева невольно спряталась за спину мужа. Устин ухватился за кол, но тут на крыльцо дома вышла сама Лукерья и, сколько позволяло её обложенное жирами тело, кинулась к мужу.

– Чего уж там, – низко прохрипела она. – Заходите...

Параскева протрусилась на цыпочках. Сидор шёл решительно.

Хозяин лавки не предложил. Разговаривали стоя.

– Чё ж делать, сват? – начал было кузнец.

– Какой тебе сват?! Какой я тебе сват?! Нашел сватов...

– Ну, чё ж, – вдруг встряла Параскева. – Девку позорить, что ль... Судьба, видать, такая.

Мы не против.

– Ешо чего! Вы против... Гольгуба была бы против... Вы кто есть супротив купцов гильдейских?

Тут взъярился Сидор.

– Я кузнец. Кого вы без меня делать будете? На своих тощих ковылять?

– А нехай! Не передохнем. Надо будет – и в Баево съездим. Я сам навезу кузнецов.

– Вези! – взвизгнул кузнец. – Пойдем отселева. Гусь – он свинье не товарищ. Ехай таперича в Баево коня подковать.

Лукерья села на лавку, и Параскева краем глаза отметила, что её задница заняла ровно половину лавки. Концом платка хозяйка утирала слёзы.

– Отец! – просительно всхлипнула она. – Дитё ведь родное.

– Цыц! – расвирипел купец.

Савиновы вылетели из ворот купца. Собаки взъярились им во след...

– Хорошо! – рявкнул кузнец. – Спасибо сыну! Уважили люди добрые на старости лет.

Параскева плакала.

По виду стариков Устинья поняла, что они от ворот поворот получили.

– Собирайся, – сказала она Пантелею.

Они шли посередине широкой улицы так, как обычно навещают молодые родителей после свадьбы. Бабы у колодца, до того гомонившие, как сороки, враз замолчали и долго глядели им во след.

Ворота Молотовых всё ещё были заложены. Утя прошла через калитку, открыла ворота. Собаки взнялись на Пантелея. Утя кинула в них кол. На визг вышла Лукерья. Встала, заполонив юбками всё крыльцо. Утя дернула Пантелея, и оба они повалились на снег.

– Простите, матушка!

Тут выскочил на крыльцо сам Устин. Молодые стояли, воткнув колена в снег. От бессилия Устин вдруг затопал ногами, рявкнул и метнулся в дом. Пантелей стоял на коленях рядом с бывшей хозяйкой, собирающейся стать его женою. Она, Устинья, не то чтобы была ему по сердцу, он просто не был против. Он, конечно, собирался жениться, на кого тятенька укажет, но, видать, не судьба. Он бы стоял так и с другою, которая, как Утя, повела его за руку. Привыкший беспрекословно подчиняться родителям, он так же подчинился Уте. Вообще, он глядел на жизнь как бы со стороны. Она протекала мимо, и Пантелей ино равнодушно, ино с любопытством вглядывался в нее. Но себя Пантелей чувствовал, только когда входил в кузню, раздувал горн и, слыша короткие властные указы отца, бил молотом по изделию, и отзвуки наковальни, шипение вскипающей от металла воды, гарь и окалина – всё это приводило Пантелея в состояние, что он на своем, Богом уготовленном ему, месте. Сейчас он молчаливо ждал решения судьбы и принимал любое решение как волю Божию.

Устинья, стоявшая рядом, знала только одно: она хочет и должна жить с Пантелеем и никакие купцы ей не нужны.

Пара стояла уже два часа, и Лукерья, шурша юбками, кружила вокруг мужа:

– Что ж таперича поделаешь?! Ну ты раскинь умом. Дитя-то наша... По-доброму сотворим...

– По-доброму! – кипел Устин. – А они по-доброму отца позорят!..

Два брата Устиньи подглядывали в приоткрытую дверь за родителями и нашептывали сестре обстановку в доме.

Наконец Лукерья наладила парочку до дому, чтобы не студить дочку.

Весть о случившемся у кузнецов разлетелась по поселению в тот же день. Бабы вдруг спохватились, что в доме нету соли и зачастили к Параскеве в надежде увидеть Устинию. Но девица не выходила из Матронкиной светлицы, а Пантелей работал в кузне. Параскева пошла в лавку и закупила соли у хитрющего татарина из Казани, Гаврилы по-русски. Татарское имя его никто не помнил.

– Сына женила? – спросил Гаврила.

– Женила, – холодно ответила Параскева.

– Вай-вай! Никто свадьбы не слышал.

– Услышат. Сплетню же услышали!

– Вай-вай!

– Ешо раз вякнешь, в Баёво попресси коня ладить...

– Вай-вай... Вай!

После воскресной службы Параскева пошла к батюшке. Он жил неподалеку от храма, во дворе его. Вызвала на крыльцо.

– Я, батюшка, сюды пришла, уж не пеняйте, чтоб народ чего не плел. А то несут чего ни попадя.

– Наслышан!

– Дак вот чё ж! Ну чего я с ними поделаю. Не на улицу же их выкидывать? Чай, не щенки. Но греха меж них не было, батюшка... Не было! Я слежу!

– Ослушаться отца в таком деле – большой грех, Парася!

– Ну, кого ж с имя поделаю! И за что мне такое?

– А почему Сидор в церковь не ходит? Бога не благодарит?! Разве не помог ему Господь?!

– Ну, чего ж я с ним поделаю?! Ему рази укажешь?! Он меня на наковальню положит и молотом прибьет. Лепешку сотворит. Я ж его знаю.

– Ну, ступай! Бог милостив. Глядишь, управимся...

– Ой, батюшка, век буду за вас молиться!

– Ступай! Ступай!

На неделе священник Никодим появился в доме купца Устина. Лукерья расплескала свои юбки по горнице, а Устин же поднялся с лежанки. Он понимал, зачем «приперся поп», и ответ у него был один: «Не прощу! За купца отдавал, за батрака пошла!»

– Занемог? – спросил священник, присаживаясь на табурет рядом с лежанкой.

Устин промолчал.

– Дочка, Устин, у тебя ладная. Вы с Лукерьей хорошо детишек подымаете. И она без греха.

– А ты проверил? – усмехнулся Устин.

– Я поп! – холодно ответил отец Никодим. – Мне по службе положено знать. Богом!

– А ты слушай, отец, слушай! Устинья ить дочь твоя, – встряла Лукерья, вдохновленная похвалой к дочери.

Устин метнул на дородную супругу сердитый взгляд, но промолчал.

– Ты раскинь умом, – продолжил священник. – Ну, проклянешь ты её! На позор выставишь. Кровь-то у неё всё одно твоя. Будут внуки у тебя проклятые, беззаконные... Я ведь венчать не могу их без твоего согласия... Аще 38-е правило Василия Великого гласит: «Отроковицы, без соизволения отца посягшия, блудодействуют». Чуешь, на что ты дочь родную толкаешь?

– Отец! – вдруг истошным гласом крикнула Лукерья, рухнула на колени и повалилась без памяти. Устин вскочил, ошалело глядя на супругу.

– Эй, – крикнул священник. – Кто-нибудь... Воды!

Очнувшись, Лукерья подползла к ногам мужа, обхватила их обеими руками:

– Отец, батюшка, пожалей свою кровушку. Наше чадушко, родное!

Купец, белый от испуга, глядя на обострившееся, враз изменившееся лицо жены, махнул рукою.

– Да делайте вы чего хотите!

– Это что, твоё благословение? – спросил отец Никодим.

– Считаю, так, – рявкнул Устин и отвернулся.

Через два дня три воза добра въехали в ворота кузнеца. Наверху первого возка красовалась икона благословения... Ещё за Устиньей отец давал золотишко на постройку дома для молодых и скоток на обзаведение...

Свадьбу гоношили на скорую руку. На венчании не было ни купца, ни кузнеца. Но от церкви свадебный поезд ехал весь в цветах и позолоте, с гиком и песнями. В застолии гуляла вся Чуманка.

Кузнец оценил приданое. По правую руку жениха сидел Сидор с Параскевою, по левую от невесты – Лукерья, красная, как кумач, сродни своей шали, не знающая, то ли плакать ей, то ли радоваться.

Устя была счастлива. Она уверила себя, что умолит, утешит тятеньку. Добрый, покладистый муж сидел рядом с нею, и ей ничего более не надо было...

На другой день застолье не притронулось к еде, пока не вынесли честь невесты. Её вынесли торжественно и с песнею... Злые языки замолкли...

И дробный перестук ложек о чашки убеждал хозяев, что все гости удовлетворены. Кузнец, как ни странно, тоже был удовлетворен. Первенца женил, как положено, и не на ком-нибудь... Обвенчал с купецкой дочерью. Как ни крути, как ни злись Устин-купец, а гонор-то кузнец ему поотшибал. Не задарма он сюда приперся, лаптем щи хлебать... А дом бы он и так молодым выстроил! Серебришко-то старый Сидор всегда умел добывать. Но золотишко приданого расчетливо принял. Чего же добром раскидываться? Глядишь, не хуже купца заживёт...

«Ешо поладим», – думал Сидор, прохаживаясь вокруг свадебного застолья и потчужа гостей. Супротив Парашиноного самогону никто не устоит...

Сама Параскева на другой день тоже не сидела за столом. Потускневшая, усталая, она укромно сидела на кухне, пережидая внутреннюю боль и моля Господа, чтобы не опозориться. Она ещё не понимала, что надорвала её жизнь: и дороги, и обустройство, корчевание пашни, стройки и крутой нрав мужа. Не понимала, потому что в крестьянском глазу таких понятий нету, но Параша уже хорошо поняла, что конец её близок. Потому она радовалась невестке, угождавшей ей и свёкру с первых шагов в доме кузнецов. «Добрая будет замена, – спокойно думала она... – Только бы по-Божьи отойти... Соборовал бы меня батюшка... Успел ба...»

Устин глядел свадебный проезд из широкого окна своего терема. Он не вошел в дом дочери и не спрашивал о ней, куда Устинья не родила первенца, сына и внука Василия. На крестины он одарил всю семью кузнеца и, увидав красное личико внука, крикнул: «Наша порода, Молотова!»

Сидор было раскрыл поперечный свой рот, но Параскева ткнула его в бок, и он послушно закрыл его. Параскева угасала, как отгоревшая свеча, и Сидор уже боялся и дышать на неё...

Умерла Параскева после сговора второго своего сына, Ивана, который женился по указке отца. Привёл в дом высокую, на голову выше себя, молчаливую деваху из старожиллов, дочку скорняка, шившего тулупы и полушубки. Не бедную и не богатую... Глянув на Екатерину, Параскева поняла, что всё её на земле окончилось. Она ещё помолилась Параскеве Пятнице, своей небесной покровительнице, чтобы та встретила её там, и тихо отошла...

Старый Сидор не то чтобы воскорбел, но растерялся. Он не понимал, как теперь управлять домом, хозяйством, усадьбой без своей сподручницы, верной, послушной... Он от зари до зари с сынами в кузне, приходил в чистую горницу, где ждал их горшок со щами, пироги, свежее испеченный хлеб, чистая перемена белья. Скотина всегда накормлена и вся в стойлах и стайках. Сам-то он и не старел вовсе, а как бы подсыхал. Малорослый, но весь скрученный жилами, чуть с горбцом от работы, ходкий, с красными клешнями цепких рук, кудлатый и в бороде и чуприне, он узнаваем издалека. Хохлацкая гордынька часто застила ему прожженные очи, и он первым никому не кланялся. Высоко себе цену подымал. В церковь ходил редко, за что его нет-нет да поминал недобрым словом отец Никодим на проповедях... Сидору нашептывали, но кузнец только отмахивался: «Нехай! Ему за это деньги платят!» Он был занят другими заботами, своей женитьбой. Посватать молодую, дак ей хозяйство поди не к лицу. За нею самой надо бы ухаживать... как за тёлкою. Холить её нарядами да сладостью... Старую брать – хоронить опять тока.

Его заботы разрешила невестка Устиния. Ушлая, решительная, хваткая, она властно отодвинула от управления Екатерину и встала на место большухи. Ключи от амбаров, клетей, лавки и погребов – всё было в её руках. Оно стучала ухватами, ворочала котлами, выкатывала тесто, пекла хлеб и томила щи, наняла батраков и распорядилась оплатой. Когда Васильку исполнилось семь лет, Утя почитай своим решением начала строительство своего дома и зорко следила за постройкой. Теперь кузня работала бесперебойно, и усадьба кузнеца была окружена телегами, как церковь в праздники... Через год Устинья въехала в свой дом и начала постройку дома для Ивана.

Молчаливая Екатерина шила полушубки и тулупы и во власть не рвалась. Тем более что за годы жизни она не родила Ивану и считала, что права голоса не имеет. Каланча, она и есть каланча... пожарная. Так унижала её въедливая Утя... Как только Иван с супругою угнездились в своем доме, новом, но гораздо меньшем, чем у Ути с Пантелеем, как Устинья родила дочку. Поп окрестил её Надеждою. Надеждою кликали её в семье.

Кузнец процветал. Со сватом Устином они пили самогонку по праздникам, и купец сообщал кузнецу, как чихвостил его поп на воскресной службе.

– Нехай! – отмахивался Сидор, но медвежьи глаза его поблескивали люто...

Его большой печалью оставалась дочь Матрона.

\* \* \*

Священник Никодим был вторым попом в маленьком приходе Тамбова. Жил он скромно и нехлопотно. Деток им с матушкой Антониной Господь не давал, а потому отец Никодим и не помышлял о больших переменах в своей судьбе. В доме жила его сестра Домна, здоровенная деваха, басовитая и работящая, но с такими тяжелыми кулаками, которыми она управляла, как кузнец молотом. Оттого женихи как-то не торопились вести её под венец, не гляди, что она и с мужицкой работой справлялась играючи. И когда тамбовский архиерей предложил отцу Никодиму отправиться по реформе к черту в турки, он понял, что его отправляют как бездетного, бесскарбного, и Домна тут же собралась за братом. Польза от сестры большая, считал священник. Маленькая, сухонькая его матушка родила в пути сына, и Домна отогревала мальчонку на своей могучей груди, обмотав его шалью. Нежданную радость окрестили Алексеем. Уже сразу после свадьбы Устинии Молотовой матушка Антонина разрешилась ещё девочкой, которую Домна сама нарекла Евдокией...

Когда священник Никодим прибыл в Чуманку, церковь в поселении уже стояла. И первое время народ мало ходил в храм. Обустроивались, приезжали новые, корчевали пашни, строились. Потом начали рожать, несли деток крестить... Тогда и собрал священник сельский сход, выбрали старосту поселения Афанасия Васильева, мужика положительного, пра-

вильного, встретившего многих поселенцев. И как-то все приструнилось, построжало, потекло бережками.

Домна деловито управляла домом, правда, без всякого изящества. Ее дело было таскать кули, косить и поправлять заплоты. Матушка же плела салфеточки, вышивала дорожки и рассказывала деткам сказки, над которыми нередко плакала чувствительная Домна.

Священник, отец Никодим, считал, что Господь хорошо устроил его в жизни. С неслыханными дарами – семья и дети, сестра, которая его обожала, и все, что вокруг него. Большую заботу вызывала у священника только дочка Дуняшка. Она росла слабенькой, в мать, безответная, как детский ангел, все болела, задыхалась. Она и родилась когда, повитуха Марфа сказала: «Синенькая, не жилица!»

– Сама ты не жилица! – замахнулась на неё Домна. – Хорошее дитятко. Ручки, ножки... Всё есть!

Домна с первых минут взяла племянницу под неусыпную опеку, да такую, что священник боялся, как бы дитятко не задохнулось под опекой тетки. Домна спала с нею, отогревая её бескровное тельце своими жаркими, могучими телесами. Она кормила её, ни на минуту не выпускала из виду. Даже привязывала ряднушкой на горбушку, как африканки. Дуняшка выжила, но первое время не понимала, кто её мать... Звала мамой всех подряд: и матушку, и Домну, и даже Матронку, часто забегавшую в поповский дом играть с нею. Матронка, кузнецов последыш, как-то незаметно подрастала.

Старый кузнец, занятый своим промыслом, тяжбами со сватами, свадьбами сыновей, постройками их домов, как-то мало обращал внимание на крутящуюся рядом дочку. Всегда на глазах, всегда на подхвате, она мало доставляла хлопот отцу. Махонькая, остроличенькая, с конопушками на живом, вздернутом носике, совсем незаметная, боль и жалость умершей матери Параскевы, она никогда не жаловалась ни на кого тятеньке и ни о чем не просила, и отец как бы не замечал её...

Однажды, выйдя охолонуться на крыльцо, он увидел, как Утя дала его дочери подзатыльник за то, что девочка не углядела за её дочкой. Матренка молча утерлась и, взяв ведра с коромыслом, пошла за ворота. Сидор понял, что запустил сироту и невестки помыкают ею. Ему стало на мгновение стыдно перед покойной женою.

– Ты бабу свою охолонь, – сердито заметил он сыну. – Ещё раз тронет дочь... – Он погрозил кулаком.

Смышленная Утя угодливо напекла свекру любимых его рыбных расстегаев и перешла из своего старого платья Матронке сарафан... Она умела угождать всем. Надейка перешла из-под матиной опеки в руки Екатерины, которая вылила на ребенка все свои потаенные материнские чувства.

Сидор решил, что его заботы о сироте возымели успех, и забыл о воспитании. Он добивался одного, чтобы его признали первым человеком в Чуманке. А для этого мощна нужна тугая. Мощна, надо сказать, круглилась, не хуже купеческой, народ кланялся, а вот попяра никак его не уважил. Безбожником обозвал и щепкою вроде... Но сельский сход молчал: «Поди поищи такого кузнеца...». Нахлебались без него. Только пикни, в Баево заковыляешь... А вера, она не убежит. Сегодня веришь, завтра нет и кругалём.

Так и не заметил за этой суетою кузнец Сидор, как утлый остроугольный утенок превратился в ровную, пусть не красавицу, но милую светлую девушку. Как и положено, с румянцем на щеках, светлоглазую и приветливую. Он даже не заметил, что Матрона часто уходит из усадьбы, особенно по воскресеньям, и пропадает подолгу... Заметил это его сват, купец Устин: «Девка-то у тебя пригожая стала. Замуж ей пора, будет ей в церкви-то петь. Чай, не монашка!» – сказал как-то весною на укромной лавочке ему Устин.

– Как в церкви? Кто поёт-то?! – изумился кузнец.

– Ну, будет тебе! Ешо не пиши! Я тебе чё втолковываю: племяш мой, сынок брата моего, Данило... Давай поженим их!

– За Данилку! Рехнулся?! Они родня, считай... Кто их обвенчает?

– Ну, не по крове же! Подмогнём! – Устин выразительно пошевелил пальцами.

– Она чё... Обсевок? Я ей доброго парня сосватаю!

На следующее воскресенье, оставив в кузне сыновей, Сидор огородами прошел в церковь. Он не был в храме со дней приезда в Чуманку. Церковь была полна народу, и Сидор встал за печкой, чтобы поп, не дай бог, не заметил его. Когда народ крестился, Сидор тоже машинально поднял пальцы на лоб, но они не скрестились в щепоть, а он перекрестился по старинке, двумя пальцами. Приглядевшись, он увидел свою невестку Екатерину, торчавшую каланчою в сторонке от алтаря, старосту, бородатого Афанасия Васильева, супругу Молотову, свою сватью, занявшую собою весь угол перед печкою и, наконец, в самом углу за хоругвями ангела с русой косою, упоенно поющего, рядом с поповским подростом. Это была его дочь Матронка. «И ведь не сказал мне никто, – прослезившись, подумал кузнец. – Приду, выгоню к чертям невесток-то... Сват правду сказал, замуж надо отдавать девку, а то искривит её поп... Ишь как кадиллом машет! Чего ему, махай да махай, а серебришко-то вон звякает. А постоял бы у горна ти денёк да помахал бы молотом, поди, рот ба не разевал на кузнеца!»

С этого дня Сидор Карпович, кузнец Чуманского поселения, начал присматривать жениха для своей дочери. Он не желал ей ни богатого, ни бедного мужа, желал работающего. Выбор пал на своих краянских, черниговских хохлов, семьи бондарей. Всё семейство звали Бондарчуками. Все они похожи друг на друга: высокие, черные, як галки, усатенькие и с горбинками на носу. Не богачи, и не бедняки... Самый раз... У бондарей выросло три сына, да девок штуки четыре. А за которого выдать Матренку, старому кузнецу было все одно. Он уже вел переговоры со свахою, как вдруг его неприметная дочка, эта тихоня, сроду не молвившая поперечного слова отцу, твердо заявила:

– Тятенька, я замуж не пойду!

– Когой-то? – не понял кузнец.

– А так, не пойду, и всё. А не по воле будете выдавать, уйду из дома.

– Кудый-то? – опешил Сидор.

– А куда глаза глядят. В монастырь пойду... Пешком...

Небо прохунилось над головою старого кузнеца. Он ни на минуту никогда не пожалел, что оставил родовое гнездо, сады хохландии и пришел сюда, к черту в турки. Вроде устроился – куды с добром, корни пустил. Три дома в усадьбе. Скота три табунка алтайцы пасут, а семья-то прохудилася... Пантелей своей волей женился, Ванька бездетную взял, и эта сопля... Ей и разговаривать-то не велено... А тоже!..

Гром грянул нешуточный. Тут ещё встрял завистливый Иван и навёл тень на плетень. Мол, Утя нашептала: не то золовки у бондарей съедят Матронку. Утя ни за что ни про что получила такую трепку, что убежала от грозы к купцам.

– Не я это... Я слова не говорила, – оправдывалась она.

Бесплодная Екатерина, которой тоже досталось под раздачу, наконец навела свекра на ум... Мол, она из церкви не вылазит и это дело попа Никодима.

Кузнеца как ошпарило. «Зарежу!..» – подумал он.

В воскресенье, после обеда, кузнец напялил на себя старенький тулупчик, в котором ещё пришел в Чуманку, сунул фамильную финку за пазуху и потопал по лоснившейся от солнца снежной колее к ненавистному попу.

Священник Никодим сразу понял, почему бугрится пазуха у незваного гостя.

– Убивай! Чего ж... Коли пришел!

– А ты думал жись всю мною помыкать! Утю мне поселил, таперь дочь похищаешь!

– Чем тебе Утя плоха?! Параскеву с лихвой заменила. А дочка твоя – голубица! Не неволь её!

Кузнец ярился, но чуял, что не в силах замахнуться на попа.

– Пусть живет как знает. Рядом с тобою. Она и из-под твоей воли не выйдет. И дому поможет. И молитвенница будет твоя. Ты ведь за неё сроду свечки не поставил, а она за тебя как молится! Все глаза выплакала за тятеньку...

Священник повернулся и пошел в церковь. «Ага, испужался», – натужно подумал кузнец, но эта мысль не утешила его...

Вернувшись домой, Сидор укорил дочь:

– А мать-то чего скажет?

– Она мне и сказала.

– Чего?!

– Тятенька, построй мне флигелек в конце огорода... За банькой. Я там сама жить буду и за тобой ходить. Мне так мама сказала.

– Кода?! Бреешь чего ни попада!

– Во сне. Правда, правда...

Поразмыслив, глава семейства велел Устинье начать постройку домика для Матронки. Утя, не чаявшая, как угодить свекру, все же сунула свой утиный нос в расстройство свадьбы свояченицы: Матрона была ей нужна в усадьбе. Да и приданое было жалко вывозить со двора... Все ж она была хозяйкою в усадьбе Савиновых, и теперь Утя со всей энергией взялась за дело. Весною, к самой пахоте, домик стоял. «Прям светлица!» – вздохнула Екатерина.

Домик был в одну комнату, с печечкой, с сенцами и высоким чердачком.

«Ты сроду была дура, Параша», – подумал в небо Сидор жене-покойнице. Замуж-то чести боле идти...

– Вот и славно, – украшая светлицу, сказала отповедью в мысль свекру Устинья. – Будешь сама себе хозяйка! А то бы золовки обглодали тебя. Они хохлы, знаешь какие злые, а хохлуши – и не приведи господь.

Невестки набросали по светлице салфеток кружевных, дорожек вышитых, повесили выбитые узором занавесочки, и Матронка после службы церковной входила в свою светлицу, как в садик...

Сидор ни разу не вошел в жилище дочери. Его жлоба мучила, что в его семье опять все вышло по попову слову... «Вот ведь оглобля ты окаянная, – сопел про себя кузнец. – Образина ты тамбовская... Погоди у меня... Я ешо табе добуду...»

\* \* \*

Священник утречком, после Духова дня, вышел во дворик своего домика. Семик стоял горячий. Давно не было дождей, и зелень поднывала, уже входила в колос пшеница и набирала цвет гречиха, и оттуда, с полей, доносилось сладковатым, зреющим, набиравшим силу! В округе кричали петухи, дрались ласточки, оберегая своих птенцов от непрошенных гостей. Ещё чуть-чуть отдавало если не прохладой, то тенью прошедшей ночи, но к обеду всё затихнет, утомится и даже пчелы перестанут жужжать. Священник Никодим любил изредка взобраться на пригорок за церковь, оглядеть поселение, как своё владение.

В сущности, оно и было так. Когда он прибыл из Тамбова, церковь уже стояла. Но в алтаре была всего одна икона и антиминса не было. Так что, можно сказать, служение в Чуманке Господу Богу начал он, протоиерей Никодим. Он и крестил, и венчал, и отпевал поселенцев, и учил их жить, и правил молебны по домам. Все они были в его власти. Вначале было трудно. Народ прибывал со всех концов России. Каждый со своим укладом, пониманием жизни своим... Говор и тот отличался. У всех были разные попы, и проповеди их рознились. Сживались туго-

вато, гуртовались вначале по своим, «крайным». Да ещё местная старожилая поросль належала на неокрепшее селение, желая утвердить над ним свой верх. Бывало, что поджоги были. Приходилось выставлять дозор...

Со своего пригорка отец Никодим хорошо видел всё поселение, уже окрепшее, наростившее амбары и стайки, загоны и гумно. Уже припекало, и народ ховался в тень. Изредка заспавшиеся бабы шли с коромыслами, да подрост гнал поить скот на речку. Из ворот кузнеца выгнали дойных коров. Их гнал Василько, Сидоров внук, смуглый подросток, ерепенистый жиганенок с ярыми, в мать, только синими, глазами, известный всей округе драчун и задира. На прошлой неделе приходили старожилы, после того как Васька с ватагой налетел и разогнал их загоны со скотом, как бы в отместку за прошлые обиды. На сельском сходе об этом говорил староста Афанасий, привычно пенял и поп... Но кто ж будет связываться с кузнецами... Тут правда дорого обойдется. У Сидора всё поселение в кулаке...

Вон он вышел в своей широкополой соломенной шляпе, из-под которой пузырятся седые локоны до плеч, желтая косоворотка из ряднушки подпоясана пояском со стебками, шитые ещё поди Параскевой-покойницей. Бодро пружинит короткими кривоватыми ногами. Пошел к свату под навес его холодные наливки пить. «Ну клещ, – подумал священник. – Чистый клещ».

К кузнецу на полусогнутых подлетел Акинфий и поплелся за ним, виляя, как собака хвостом, костистым своим задом.

Акинфия Сосункова привёл в поселение под ружьем урядник, сдал его старосте и тем поставил на прокорм поселению. Он был ссыльным, трепался, что политическим, а когда его вусмерть избили мужики из старожильческого поселения, где он кормился, тогда Акинфий признался, что нечистый дёрнул его обобрат саратовского, как он выразился, мироеда, за что его и погнали в ссылку. Мужики избили его за то, что он вздумал прочесть им лекцию о том, что Бога нету и его придумали тираны, чтобы угнетать их, мужиков. Этой премудрости он нахватался на этапах, где он шел с политическими евреями, и время от времени пытался блеснуть своими откровениями среди дремучего народа...

Сам Акинфий грамоту, как ни странно, разумел, читал бегло и писал сносно, чем соблазнял иногда отца Никодима мыслью: не принять ли этого битого мужика учителем в приходскую школу. Но, вспомнив, что этот высокий, прямой, как жердь, получахоточный жердина с кадыком на шее и громадным пупырчатым носом, безбожник, оставлял эту мысль. Школу отца Никодима обязали открыть, но в неё почти никто не ходил. Крестьянские парнишки неусидчивые и быстро охладевали к учению, а девок вообще не выпускали со двора: их дело – прясть да ткать, да женихов выглядывать. По такому случаю приходской священник решил, что основы веры он и без того преподает приходу службою да проповедью, а потому пока нанимать этого костлявого, жалкого «политического» резону нету. Его и слушать никто не станет...

И все же какая-то тревога подымалась в сердце приходского батюшки. Этот «политический» при крайней худобе своей и чахоточности был крайне прозорлив. Его кормили поочередно на поселении, и бабы жаловались, что накормить его было невозможно: «что боров жреть...» Утя, которая везде совала утиный свой нос, определила, что его червяк жреть изнутри и его кормить нельзя. Оголодает, мол, сам вылезет. Поэтому она кормила Акинфия вприглядку. Сала не давала, хлеба – и того мерила. Потому несостоявшийся учительшка, как его кликали на селе, обходил хозяйек усадьбы. Матрона, правда, добра, но она сама живет во дворе как нахлебница. И вот стал замечать священник, что Акинфий часто захаживает к сестрице его, Домне, и та, дура, таскает из дому продукты, кормя его вне очереди, а главное, умильно слушает, подперев кулачищем щеку.

Его предчувствия подогрела матушка Антонина:

– Как бы, батюшка, греха не случилось. Ныне захожу в сарайчик, а Домна-то кормит его, оглоода, и гладит, гладит по спине, а он жрет, как конь... Слышь, батюшка, как конь!

– Чё же, это наша обязанность – ссыльных кормить. Невелико тягло!

– Дак не наша очередь-то.

– Церковь обязана каждого принять и накормить. В любое время суток.

Отец Никодим кинул на супругу недовольный взгляд и на всякий случай заглянул в сарайчик. Уже изрядно припекло, когда священник спустился с пригорка. В церкви было прохладно. Священник поправил крест и хоругви. Во дворе цвели фиалки, посаженные матушкой и ещё какие-то трогательные, девичьи цветочки. Явно их садила Дуняшка. Сторож Тарасий, старый бобыль, так и состарившийся в церкви, стороживший церковь за пропитание и обноски, которые приносили ему прихожане, дремал в теньке у своей сторожки под яблонькой и не проснулся, когда настоятель прошел мимо него.

Во дворе дома уже хлопотала Домна. Она вынесла из горницы перину, выхлопала ее, впустила и вынесла во двор Дуняшку. Девушке становилось хуже, и местный лекарь прописал ей воздух. Дуняшка сопротивлялась в тисках тетки, пищала: «Я сама!»

– Сама, сама... Вот ложись сама... Вот так. Подушечка тебе. Ножки укрою.

– Ну, жарко же!

– Жар костей не ломит!

Матушка открывала птичник. В дощатую загородку вышли куры и индюки, чем очень гордился хозяин. Он считал своим долгом быть впереди прихожан и просвещать их своим примером. А потому выписывал диковинных для поселения домашних животных и птиц. А также из Питера недавно пришли молотилка и маслобойка. Когда Домна впервые увидела индюшку, то закрестилась: «Свят, свят... Чертова ить птица!»

– Зато вкусная! – ответил батюшка.

Этих индюшек любит гонять Алёша, первенец четы Лапыгиных. Алёша сызмала рос крепеньким, кругленьким, розовощеким, что наливное яблочко. Кушает хорошо. Мальчик смысленный. С пяти лет он послушный помощник отцу. Громко, четко, с выражением читает в церкви Апостола и гласы. Бабенки умильно утирают слезы. Сейчас он погнал индюшку, и Домна прикрикнула на племянника. Куры всполошились, и загоготали гуси. С утра раннего Тарасий выгнал в стадо корову Майку и четырех овечек. Весь этот домашний гвалт внушал священнику чувство надежности. И он кормится от трудов своих, как всякий поселенец этого края.

К обеду пришел сельский староста Афанасий. От борща степенно отказался, а чайку под яблонькой попил с крыжовниковым вареньем. За столом ухаживала Домна.

– Чай, сестра варила варенье? – спросил.

– Сестрица!

– Знатное варенье. А что, будем ли сход на неделе собирать?!

– А какая надобность? Да и покосы на носу. Не время болтать-то...

– Акинфия бы надо выпороть, – глядя на Домну, погладил бороду Афанасий. – Опять против Бога воду мутит.

Домна, услышав разговор, вспыхнула и побежала разгонять индюков... Афанасий вопросительно поднял бороду ей вслед. Поп махнул рукою: мол, пустое всё.

– Васько, коваля внучок, опять разыгрался. Надьсь приезжали старожилы, жаловались: Васько-то их бондарева мальчишку встретил и в речке едва не утопил. Насилу отбили...

– Это которого бондаря-то?

– Дак Грешневикова, который с краю третий дом.

– Это который у Силантьевны козла увел?

– Он самый.

– Ну дак чего же?! Поделом вору и мука! Оно, конечно, Ваську бы не грех приструнить, дак... Как он подрос, в Чуманке и потише стало.

– Потише! Потише!

– Опять же бондарей полно, а кузнец один!

– Кузнец один!

– На том и порешили. Сход собирать после зажинок. Амбары засыпем, браги наварим, тогда и поговорим...

Староста встал из-за стола и раскланялся. В это время Матренка, кузнецова дочь, забежала проведать Дуняшку. Девицы радостно защебетали под навесом.

После смерти матери Матронка совсем отчуждилась от семьи. Невестки без конца делили что-нибудь, ругались из-за Надейки, делили кухни. Братья в семью не лезли. Им хватало кузни. Отец все чаще уходил со двора к сватам... Но когда Матрона попыталась упрашивать его, чтобы он отпустил её хотя бы на богомолье, отказ был решительный: – А меня кто покоить будет? Рбстил-рбстил и отдай готовенькую дармоедам! Вон у тебя есть угол – и молися. Кого хошь зови к себе... Собирай вороньё. А из дому тебе нету моего слова! Отца бросать. Поди не собака. Бог, он, сказывают, везде есть... Старик едва не заплакал на этих своих словах...

\* \* \*

Чуманка подросла, как-то сливалась двор ко двору. Стирались наречия, оканье, аканье. Молодняк вообще говорил одинаково. Но от старожиллов всё же отличались. Садились глубоко, коренились густо. Пришельцев принимали на сходах и всё больше просеивали. Бондарей уже не брали, отсылали вверх по Чуманке. Осенью пришел сапожник Яков. Сапожника взяли. Оно хоть и многие шили сами себе и деткам типа чуней, но все на абы как. Без красоты. За форсом ездили на ярмарки в Баево. Это накладно...

Старый кузнец на сходки ходил. Подсохший, почерневший от угара, он въедливо следил, чтобы в поселение не просочились кузнецы. Его не любили, но считались с ним. И то сказать, зачем в селе в одну почитай сторону два или более кузнеца. А Сидор своё дело знает...

Не ладил он по-прежнему только с отцом Никодимом. Но священник на сходах кузнеца не трогал. Пусть он сам в церковь не ходок, но семейство его служб не пропускает. Шествует чинным рядом. Впереди Иван с Екатериной, чуть поодаль Пантелей с Устиньей, сзади бежал жеребчиком Василий и кокетливо куталась в материнские шали Надейка. В церкви Устинья всё же норовила впереди невестки встать. Тут уж Екатерина уступала. Ей, каланче, где ни встань, её отовсюду видать. Василько, повертевшись перед глазами священника, тихонько пробирался к двери и заваливался на просторе под какую-нибудь телегу и дрых до креста. Потом смиренно целовал крест, дергал за косу Надейку и шел обедать с семейством. Устинья, стоявшая всегда впереди всех, была уверена, что её сынок стоит где-нибудь у печи, и скромно крестит себе лоб. Священник из оконца алтаря видел отрока под телегою, но молчал, дабы не расстраивать всё семейство. Он, тамбовский поп, сын попа и внук попа, и правнук с самых изначальных времён много повидал уже на земле и хорошо понимал, что правда сего часа может стать неправдой жизни. Отрока ничему на научишь, и пути его только Господу ведомы...

Уже после службы священник заметил, что с утра не видел Домну. Матушка на его вопрос только пожала сухонькими плечиками. Мол, мне делать боле нечего как за твоими сестрами смотреть. Матушка с сестрою не любили друг друга. Дуняшка, матрас которой не вынесли под навес, была ещё в горнице. Она было открыла рот, но тут же закрыла его, из чего священник понял, что дочь что-то ведаёт. Но он не стал отягощать её невинную душу расспросами. «Всё одно найдется, – подумал он о сестре. – Никуда не денется».

Утро было солнечное, благоухающее, кричали петухи, покрывая неистовый птичий гомон, пахло зреющими садочками, в небе парил ястреб, норовя снизиться над птичником. Отец Никодим вздохнул и благословил подавать обед. Ждал долго, потом выяснил, что обеда нету, что Домна как ушла с утра, так её никто и не видел. Матушка с Дуняшкой едва вздули самовар и сварили яйца. Хлеб брали с канона, потому что выяснилось, что Домна с вечера и не заводила тесто! Без сестры оказалось, как без рук. Но худшие подозрения отца Никодима

оправдались после обеда. Уже солнышко взошло в зенит, когда у ворот Лапыгиных простучала бричка. Из нее, едва не перевернув бричку, вылезла Домна в атласной шали с кистями, которую она надевала только по праздникам. За нею, трепыхаясь и дергаясь, скакнул кузничиком Акинфий. Всё семейство, обомлев, выстроилось у ворот. Домна повалилась в ноги брату, как сноп.

– Батюшка, прости! И благослови! Мы обвенчались!

Отец Никодим потерял дар речи. Семейство Лапыгиных молча глядело на молодых. Домна что-то мычала внизу у земли, а Акинфий бился в конвульсиях. Его кадык прыгал по пятнистой щеке, как челнок.

Священник наконец очнулся:

– Вон! – закричал он. – Чтоб духу вашего тут не было!

Акинфий опрометью метнулся к воротам.

– Братец, батюшка, – уробно выдавила Домна. – Нас священник венчал из Нижней Чуманки. Отец Африкан...

– Какой Африкан? Да он расстрига! А я тебе давал благословение на брак?

– Батюшка, дак ты ба нипочем не дал... А я ж живой человек!

– На глаза мне не показывайся!

Молодых приютила сердобольная Матронка, а сама ушла к отцу ночевать.

Акинфий, оставшись наедине с Домною, с громадою жаркого розового тела, перепугался вусмерть, сделал жалкую попытку взобраться на нее. Чего-то поелозил и позорно сбежал из избушки через темную калитку огорода, пропускающую Матроне богомольцев. Неопытная Домна решила, что её богоданный сотворил что ему положено и она теперь замужняя женщина.

На другой день отец Никодим заложил бричку, поставил на задники два сундука с дарами и отправился к архиерею. В епархии его рассказ был встречен с пониманием. Дары тоже пришлись по вкусу. Секретарь поднял дела Акинфия. Оказалось, что это выкрест, мелкий мошенник, до крещения – Мося Зусман. Кроме воровства и обмана имеет двух венчаных жён и внебрачного сына.

Отец Никодим тут же написал прошение об аннулировании брака. Оно было незамедлительно подписано, и Домна вновь стала девицей, мешанкой, проживавшей на попечении брата.

Два дня Домна ждала своего благоверного и потом огородчиками и задворками пробралась в дом к брату. Отец Никодим прочитал ей указ архиерея о расторжении брака с Акинфием и снятии венцов и его весь послужной список. Два дня Домна пролежала под навесом вместо Дуняшки в молчаливых стенаниях и слезах, а на третий день, к радости оголодавшего семейства, встала и стала служить брату и его семье. В эти два дня она отреклась от всех попыток в жизни устроить себе семью. И жить только для Бога и брата, выхаживая большую племянницу.

Жизнь попова двора потекла, как и ранее, не сбиваясь и не баламутя. С румяной зарею отец Никодим уже стоял в своем молитвенном закутке на утренних правилах, иной раз взглядывая на желтеющие поля пшеницы, и вдыхал медовый дух росных лугов, строго охраняемых хозяевами до покосов. Дочитав отпуст, батюшка проходил через горницу во двор и целовал сухонький уже, прорезанный тонкой паутиной морщин лоб матушки Антонины, удивляясь всякий раз тому, как невесомо тихо, словно не касаясь пола, она подходила к нему. Осмотрел издали церковь, которую сторож Тарасий всенепременно белил, и запах побелки отдавал миром и казался так же вкусен, как и запах полей. Петухи кричали реже, но с подсыхающих лугов возвращались пчелы. В дальнем курятнике квохтали несущки, стало быть, толстый прохвост рыжий котяра укараулил добычу. Но к курятнику уже несся сынок Алексей, а за ним с яростным лаем летел кудлатый прибудень кобелек Тошка. Домна уже вынула из печи и утренний хлеб, и желтоватые от яиц пироги, пряженные горохом и молодой репой и, сунув на остаток жару в печь горшок с пшеничной кашей на молоке, пошла под навес взбивать перину для племянницы...

Всё шло своим чередом, и в этих каждодневных трудах и заботах зиждилось тихое счастье, которое поп Никодим и называл благодатью.

\* \* \*

Сельский староста Афанасий Васильев считал своей обязанностью время от времени посещать своих, как он думал, поселенцев. За год он обходил каждый двор и знал, что делается в этом или другом доме. Откуда прибыли и какие обычаи соблюдают. Афанасий знал всё о селении, кто чем живёт. И тайны все ему были ведомы. Не хуже, чем попу Никодиму. Больше всего староста не любил заходить к кузнецу. И не потому, что его плохо принимали в усадьбе. Нет, старый Сидор чин соблюдал. Гостю честь и место. Со старым кузнецом держаться приходилось строго. Все одно что в сюртуке парадном. Воли не было в словах и в движении. Как перед архиереем... И все ж пришлось зайти. Не то заметит, тогда езжай за каждой мелочью в Баево. Не гляди, что староста...

Семья ковалей обедала, когда староста вошел в их дом.

– Хлеб да соль! – поприветствовал гость.

– Ем, да свой! – ответил хозяин.

Он приподнял на гостя лохматые белые брови, из-под которых блеснули две серебристые молнии недоверчивого взгляда.

Устинья тут же метнулась за ложкой и принесла из горницы покупной стул для гостя. Принимать гостя должна по старшинству жена старшего сына. Оборотистая Утя во всём опережала каланчу. Однако семья сидела строго по чину. В ведерный котел с горячими щами первым опускал свою расписную ложку глава семейства Сидор Карпович, за ним Пантелей Сидорович, Иван. А там уж Матронка с Екатериной, как правило, враз ныряли в котел. При госте Устинья чин соблюла, дети хлебали последними.

Афанасий заметил, что щи наваристы, с добрыми сгустками жира. Петровки ещё не начались и в большой тарели благоухала свининка. Галушки ели с топленным маслом, под кашу сама Екатерина принесла бутылку наливки из погреба и подала гостю вместо взвара в расписном, покрытом лаком ковше. В доме есть и кованный, тонкого серебра, старинный ковш, но его берегли для городского гостя. Какого, старик Сидор даже и не понимал, но большого. Сильно большого.

– Хороша наливка! – похвалил наконец гость. – И щи больно хозяйские...

– Что ж... – промычал кузнец на похвалу.

Невестки раскрыли уши. Утя принесла рыбный пирог. Его ломали как хлеб. Екатерина, не выдержав, принесла пироги с кашей и рубленным мясом. Всё было пышно, румяно, аппетитно...

– Чего там, в Чуманке? – наконец спросил хозяин. – Живет народ-то?!

– Дак живет, – уклончиво ответил староста. – Чужаки ещё все друг дружке. И воли много. Рассупонился народишко. Во всякой хате неустройства свои...

– Чего ж?

– Да и того ж! Жениться стали своей волей. Каждый сопляк норовит по себе ухватить... С родителями не спрашиваясь.

– Земли тут много. И воли много, – засопел, уминая пирог с мясом и запивая его наливкою, хозяин.

– Во-во! Давно ли сидели всякий во своем клочке-то. Жались, как черти в бочке, и не вякали... Абы как прожить, – подхватил гость. Тут он заметил, как заиграли глаза Василья – сына Пантелея. И были они такие же ярые, жгучие, как у Ути. «В мать ить пошел», – мелькнуло у него в голове. – А здесь все князья! Друг дружки перепрыгивают, чтоб власть свою показать... Волю-то.

– Пороть надо... На сходе.

– Да, надо бы! А ты поди попробуй! Ночью вилами подденут за ребра. Такой народ разбойничий... Гулящий народ-то осел...

В это время в открытую дверь послышался посвист кнута, и в окно на миг староста увидел, как пролетела на своём красавце, литом арапистом скакуне, алтайка Зинка. Василий дернулся, но дед поднял брови и внук сел на место.

– Приструнить надо! – вздохнул Афанасий. – Волю попробуют – всё... Ничем не остановишь.

– Нет-нет! – подтвердил Сидор и недобро глянул на внука. – Бешаными становятся!

– Струнить надо! Пороть на сходу...

Василий побелел и опустил глаза. Скулы его подрагивали...

Когда Афанасий уходил, кузнец едва привстал из-за стола. Сыновья его встали, а невестки проводили до ворот. Он заметил, что Матренка была печальна. Она было собралась проводить гостя до церкви, но кузнец сердитым взглядом также остановил дочь. Тогда Матрона у ворот с поклоном подала гостю длинный и широкий убрус, вышитый петухами и розами...

Обойдя усадьбу кузнеца, староста Афанасий увидел за её огородом в широком проулке Василия. Гибкий, увертливый, он ловил узды скакуна алтайки Зинки, которая гарцевала вокруг парнишки. «Воно как, – подумал Афанасий, – народ-то не зря болтает. Ну, да яблоко от яблони недалеко падает...»

Василию Савинову, первенцу Пантелея и внуку Сидора, шел семнадцатый годок. Он рос задиристым, жиганистым, обличьем сшибал на материнскую родовую: и глазами, и смуглостью, и норов взял молотовский, вперемежку с дедовым... С малых лет он задирали старожилы, мстя им за первые годы войны. Он знал о ней из рассказов первопоселенцев. А как подрос, стал грозой уже притерпевшихся к новым соседям старожилы.

Но сейчас Афанасий думал не о воинственности Василия и даже не о нем. Глядя на вольное обращение со зрелой женщиной хлопца, он думал о том, как меняется молодняк, как выходит он из-под родительского дозволения. Своим усмотрением жениться хотят... Это когда ж так было?! Что ж с народом будет, коли так дело дальше пойдет?! Видать, старики, которые уставы своей земли помнили, они уж успокоились на новом погосте, а молодые уставы не знают и свою волю творят... Об этом Афанасий поделился со своим другом, отцом Никодимом.

– Это не только у нас! Старожилы тоже портятся, – махнул рукой священник. – Староверы – и те стонут. У них молодняк курить начал.

– Ой!

– Вот те и ой! У нас ещё слава богу. Васька, правда, Савинов... С алтайкой скрутился.

– С Зинкой, что ль? Видал я их.

– Ну, тут дива-то нету. Зинка – баба яркая. В самом соку... Они ж как ветер, алтайцы. А он, сам понимаешь. Дурень-дурнем. Бьет оттуда-то в голову... Подай ему бабу, и всё. А она играет с им, как кошка с мышкою. Намедни пришел ко мне... «Обвенчай», – говорит! Я ему: «А кузнец-то как?! Как я вас обвенчаю без родительского благословения. Да крещеная ли она? Я её не крестил».

– Ой, боже ж ты мой!

– А он: «Окрести!»

– О, Господи!

– Да вишь как его распарило! Горит весь в жару. Не иначе как присушила!

– Ой, боже ж ты мой!

– Я ему говорю: «Разишь так женятся?!». А он ничего не слышит, не понимает!

– По роду это... Мать-то его, Устинья, помнишь, как замуж выходила? То-то! В кровь пошло!

Оба поселенина встали у ворот церкви, глядя на конец селения, где чуть поодаль его темным хвостом виднелись юрты. Там живут алтайцы – неведомый русичам народ. Вроде бы и не буряты, которых пришельцы видели в изобилии, проходя по Сибири, а узкоглазые, и не якуты с их желтоватой кожей, и не китайцы... Сами алтайцы о своем происхождении молчали, а жили, как ветер, кочуя по Алтаю, распевая свои тягучие, понятные только им песни. Во что и в кого этот народ верует, никто так и не понял. Алтайцы при расспросах делали вид, что они не понимают языка. А поскольку все алтайцы были для русичей на одно лицо, то соседи не всегда поначалу были уверены, что утром видят тех же кочевников, что и вечером... И только одна алтайка, красивая, сухощавая, со жгучим взором и соляными бровями, скакавшая на своем скакуне ловчее любого мужика по селам, именно она стала знаком оседлости нынешних алтайцев. Кто её назвал Зинкою, никому не ведомо, также очень смутен вопрос о её крещении, но знала её вся Чуманка.

Сидор сам послал Василия в юрты заказать красивый кнут для себя. Очень хотелось ему пройтись по селу с кнутом у пояса... Василий пошел. Он и раньше видел алтайку, много раз пролетавшую на коне по селению, и не замечал её... А когда алтайка вышла, откинув полог, из своей юрты, глянула на него из-под писаных бровей черными прорезными глазами, Василий пропал. Да и долго ли загореться хлопчику в шестнадцать лет? Зинка постарше Василия будет лет на пятнадцать. Баба знает своё дело. Говорила она с мальчиком, поигрывая расшитым кнутиком, и её высокая шалька, расцветенная отборным бисером, казалось, мерцала в непроглядном омуте её глаз...

Старый кузнец долго ворчал, что алтайка завысила цену, а сын согласился на нее. Но отец не заметил, что перед ним стоял уже другой хлопец, и не его сын, а раб азиатки... Недаром Устинья предупредила сына: «Не связывайся с азиатками... Не гляди на них никогда. Они нехорошие... Нечистым делом занимаются! Сгинешь ни за грош...»

С той поры Василия, как магнитом, тянуло к алтайским юртам. И кнут Василий принял из рук азиатки. Красивый, как змея. Ожег ладони. Кузнецу сильно понравился этот кнут. Он даже стеганул им Василия:

– Смотри мне! Убью... если что!

«Поздновато, тятенька», – подумал, сморщившись от удара, Василий.

Жаркая была любовь юного хлопчика с вольной алтайкой. Как только пролетала алтайка на своем скакуне, бешеными скачками билось его сердце. Встречались они в баньке глухого бобыля Анисима или уходили в луга на то самое место, не ведая того, на каком когда-то встречались Устинья с Пантелеем. Устинья, выследившая сына с присухой, пришла в ужас. Ей не надо было гадать, в кого пошел её первенец. Грех её молодой вольности пошел по роду, в кровь и судьбу родовую вошел. Ночь Устинья не спала. Утром так гремела чугунками, что собаки взъярились. Пантелей встал, вышел из горницы, почесывая себе бок. Сонный, лохматый, тощий...

– Ну, что я в нем нашла?! Ведь супротив тятеньки ходила! Опять же как жить-то без него было?

Она, намудохавшись за день, ляжет к нему под бок и – как домой пришла. Дрыхнет без задних ног. А как-то они со свекром заночевали в Баево, дак ночь в овчинку показалась Уте без мужа! Промаялась ночку... Незнамо как... Утром ногу ошпарила кипятком. Нет, без Пантелея она бы не прожила... Нешто и Васька так?! Нет, какая из алтайки невестка? Ветер шальной! Она и хлеба не спечёт. Тока лепешки в золе...

«Убить её, что ли... – с досадой подумала Устинья, заглядывая в кладовушку, где летом спал сын. Постель была не разобрана с вечера... – Ноги переломаю. Обоим!»

Утром, накормив семью и отправив мужиков в кузню, Устинья пошла к попу. Отец Никодим только что отчитал у аналоя свои утренние правила, вышел на паперть и говорил сторожу Тарасию, чтобы тот перебрал алтарный угол, не то тянет сыростью оттуда. Недовольный Тара-

сий, который перебирал этот угол ещё осенью, отвечал ему, что надо крышу латать хоша бы дранкой... А на лес денег нету. Разговор был пустой, потому что и на угол денег не было...

До того у него был опять Василий с алтайкой. Зинка так и не сошла с коня, гарцевала на коне у ворот, а Василий встал перед священником. Отец Никодим взгляделся в синие слепые глаза мальчишки, ещё смуглое красивое лицо с нервно подрагивающими скулами и с печалью подумал, что сейчас с этим зеленоротым разговаривать пользы не будет. Он не слышит и не видит никого. Скорее всего, находится под действием какой-нибудь местной магии. Он уже много раз от старожилов слышал, как молодые, неоперенные петушки попадали в магические сети опытных местных ведьм. И не только алтаек, в Сибири полно шаманья среди татарок, киргизок, бурятков... Слышал он, что и имения теряли... Василий, по местным меркам, завидный жених. Отец зажиточный. Васька прямой его наследник. Но не только корысть руководит зрелой бабой. Отец Никодим это явственно видел... Оба они были одного бешенства в крови. Оба безумные и схлестнулись.

Отец Никодим говорил четко и внятно. За свою долгую службу и отцову практику он много видел одержимых. Он говорил Василию, что невеста вряд ли крещеная и что нет благословения родителей. Закончил фразой, что он их не обвенчает...

Василий дернулся, заносчиво, с вызовом глянул на попа, но пошел неверно, как пьяный...

«Охомутила парня ведьма», – печально подумал священник. Как замутил, загадил страстями нечистый естественную тягу полов друг к другу, которую вложил Господь в человека для восполнения рода. В другое время он бы сказал «яблоко от яблони...», но ить старый кузнец с покойной Параскевой жили в честном супружестве. Пусть Сидор и в церковь не ходит, но десятину дает, и ничего такого отец Никодим о нем сроду не слыхивал. Устинья, правда, волей своей замуж пошла, но супружество хранит чисто. У всех на виду. Вот что значит родительское благословение-то. Но ничего, Устинья выправилась и Васька отойдет от этой шалавы. Только когда?..

Священник вздохнул, увидав изможденную болезнью дочку под навесом. «За что чадо мое страдает, Господи?! Укажи мне, чтобы исправил я грехи своя!»

Домна приняла у брата благословение.

– Не ест девка, – на слезах пожаловалась она. – Ей бы алой этот, потолще, старый, году третьего, с медком. Да где ж его возьмешь? У Матронки Савиновой есть, да молодой. По первому году ешо...

Домна обкладывала любимицу запаренными травами, остатки кинула в птичник.

Священник подошел к дочери.

– Дунюшка, почему не кушаешь? – ласково начал он. – Нехорошо! Надо кушать! Хочешь, я тебя покормлю? – Он взял ложку с тарелкою. – Сказку, хочешь, расскажу?

– Ну, папенька, я же уже взрослая!

– Взрослая, взрослая! А не кушаешь, как маленькая. Корми тебя, как в детстве.

– А ты не корми!

– Ох-о-о! – услышали они гаркающий возглас над головами.

Домна стояла, подперев бока кулачищами, расплывшееся лицо её выражало несказанное удовольствие.

– Бравенький-то чё! Прям куды с добром! Жаних! Прямо на Пасху Христову!

В воротах двора появился Акинфий. Он шел, вихляя, по обычаю, всем своим плоским, каким-то трехгранным задком и с отчаянным страхом встал бочком к своей несостоявшейся супруге. Лицо его было синюшно-багровым от кровоподтёков, глаза заплыли опухолью. Священник знал, в чем дело. Акинфий увидал намедни Домну, шествующую в баню с венником и шайкой. И шлея под хвост! Все ж венчались, он тут же заглянул в тусклое, запотевшее оконце, узрел что-то розовое, светящееся, наливное, что он испугался в свою очередную первую брачную ночь. Тут же разделся и вошел в баню. Домна как раз стояла с ковшом кипятка, чтобы

запарить веник. Что долетело до несчастного, то прокатилось по щеке и шее и от шайки, которой могучая Домна саданула благоверного, у него полетели искры из глаз. Отец Никодим сам видел, как с визгом и воем вылетел голый Акинфий из бани, а за ним его немудреное бельишко. Он удовлетворенно хмыкнул тогда и ушел в дом.

Сейчас Акинфий сухими костяшками пальцев одергивал косоворотку, которая висела на нем, как на колу, ибо была явно с чужого плеча, и нервно приглаживал клочковато пенившуюся шевелюру.

Отец Никодим погладил бороду.

– Пришел! – визганул Акинфий и с опаской отошел подале от Домны.

– Вижу, – вздохнул священник.

Он очень не желал этого разговора. Но на днях его вызывали в епархию, и архиерей потребовал открывать приходскую школу. Мол, против государева указа идешь. «А учителей-то нету. У меня во всем селе один сосланный грамоте обучен». «Ничего, – сказал архиерей. – Всю Россию каторжники обучают. Аз-буки научат и будет с них...»

– Акинфушка, – стараясь не глядеть на побитое лицо кандальника, ласково начал отец Никодим. – Ты чего там на неделе у старухи Силантьевой читал? Стишки какие-то.

– Пушкина читал, Александра.

– А чего ты читал?

– Сказку про попа и Балду...

Отец Никодим помолчал.

– А других стишков ты не знаешь?

– Знаю. Я много чего знаю, – хвастливо хмыкнул Акинфий. И язвительно глянул на попа.

– А ты кушать хочешь?

– Ой! Ой-ой. Сильно хочу. Эти старухи, они кормят одной пшеничкой распаренной. Как скот.

– А если я тебе жалованье положу... Детишек будешь учить?

Акинфий тут же сложился в коленях.

– Буду, вот вам крест.

– Ну, а если супротив государя понесешь... Знаешь, что тебе будет... Или против Бога. –

Отец Никодим перекрестился. – Спины-то выдюжит?..

Домна на этих словах тараном пошла на бывшего муженька. Акинфий исчез в секунду.

– Верни его, – устало приказал брат Домне.

Домна принесла Акинфия под мышкой, как бревнышко. Вперед головою.

– Ну, ты всё понял.

Акинфий, встав на землю, встрепенулся, как петух, и, задрав тощенькую бородавку, проблеял по козлиному: – Боже царя храни...

– Ладно! Ступай. Столоваться будешь с Тарасием. И смотри у меня!

– Боже царя храни! А сейчас можно... Постоловаться?

– Ступай. Тарасий как раз обедает. У него борщ с утра томился.

– Господи боже ты мой! Борщ!

– Ботвинья!

– О, Господи, Господи, – Акинфий кругом обошел Домну и рванул, вихляя задом, к сторожке Тарасия.

– Не рассуждай, не вольничай, – вдогон ему крикнул поп. – Счету учи да аз-буки!

– Ботвинья, – плотоядно повторял Акинфий, не слыша своего благодетеля.

– Дак чего Дуняшка не кушает? – спросил сестру священник.

– Дак этот кобель, кузнецов сынок, напугал её. До смерти его боится. Где-то слышала она, как он ругается... Ну и трясется!

– Дуня, доченька! Кто ругается, тот не кусает. Запомни это! Не бойся сердитых, бойся ласковых. Он пугач! Не больше... Весь как на ладони.

– Пап, тебя тоже бояться надо, – дернул попу за рясу сынок Алексей. – Ты же ласковый! Отец Никодим поцеловал сына:

– Я тебя всякий буду любить... И сердитый, и ласковый... Живи с Богом. И будь здоровым...

\* \* \*

На Петровках сёла готовились к сенокосу. Во всех усадьбах слышался свист точил, пеклись хлебы впрок, постные, на горохе и картошке, пироги.

Кузнец раздувал горнило с самой зари, и у ворот его усадьбы уже давно скрипели телеги и ржали кони. Кузнец покрикивал на сыновей и внука. Василий зыркал на деда своими волчьими глазами, мол, чего придирается-то. Мантулили, будь здоров! Нечесанные его кудлы обгорали то и дело, а глаза всё косили на узкий прорез оконца, через которое дерзкий внук кузнеца только и видел, что молнию алтайки Зинки, стремительно пролетающую мимо двора.

Василий было метнулся к двери, но дед огрел его кнутом и сам вышел на крыльцо кузни. Зинаида высилась на скакуне над телегами, в дыму махры и мужицкой болтовни. Старый кузнец смерть как её не любил и уж совсем не прочил её в невестки. «Прими-ка эту паршивую овцу в семью, и семья, как от чумы, распадется. Старуха ведь! Поди ей далеко за двадцать». Сидор смотрел на алтайку прямо и яростно. Баба не отводила взгляда. В закоптелом оконце виднелся обожженный чуб внука...

Кузнец слышал, что когда-то по Чуманке спускался неведомый кочевой народ. Кое-кто прилепился к русским селениям. Их и называли алтайцами. Народ мирный, живут рядом и в жизнь соседей не лезут. Зинка-то явно с нагуленной кровушкой. И чего к мальчишке прилепилась? Мужиков ей мало?!

Зинаида поняла, что Василий не выйдет, хлестанула скакуна, и пыль столбом...

Матронка с невестками сбивала впрок квасы, понесла помои телятам. Привстала с ведром, глядя вослед алтайке.

– Попусти, тятенька, – вздохнула она. – Не то ведь убёгом уйдут.

– Не прощу! Если народ по своей воле жениться удумает, то это свет белый перекосятся!

– А блудом сойдутся...

– Пушай поблудит. Жись большая, вымолишь! Чем дураку такой хомут на шею одевать. Убью кобеляку! И в кого такой?

– Дак в братку Пантелея. Он ведь тоже своей волей оженился.

Сидор прислушался к гулу мужиков за воротами. Каждый год по эту пору он вздувал мзду за работу. Народ злобился. Сейчас он услышал, как Кифка подначивает мужиков, называя кузнеца мироедом. Особо отзывался пришлый Кузьма, плотник с верхнего краю. «Ну, погоди, – подумал Сидор, – в Баево поедешь. А не то пусть тебе Акифка лошадь кует... Ишь, завозгудал!» Кузнец плюнул и ушел в кузню.

За неделю до Петрова поста сельским сходом решено было выходить на покосы. Погодка навалила солнца – хоть ложкой хлебай!

В утро сенокоса все семьи были наготове. Каждая семья строилась порядком. Вперёд пускали готовых к замужеству девок, отроковиц – посередку. Они одеты поскромнее, чтоб глаза не застили, мужики шли обочинами. Впереди саратовские, навстреч рязанские с песнями. Костромские шумели, как молодая рощица. Кузнецов и попов было мало. Они и шли, как бы стесняясь своей малочисленности, – наособицу. Пока не разошлись по своим угодьям, было весело, нарядно, празднично! А потом засвистели, запели литовки. Только и слышалось: «Побереги пятки! Рот не разевай... Раззява!»

Обедали после росы в березняках и шалашах. Домна с Антониной-матушкой всё оглядывались на селение, где в усадьбе оставалась одна Дунюшка. Домна все вострилась:

- Нет, я сбегаяю. Слетаю. Хоть квасом её напою. Она ведь сама и глотка не сделает.
- Тарасий-то там... Да и Лёшенька, если что... – сухо останавливала её матушка.

Домна с неудовольствием глянула на невестку. Ну, не любит она дочь. Ей бы только своего Алешеньку лизать. С зари до зари, как кошка котёнка. А что девка больна, ей всё одно. Вот и растёт сынок полизой. А уж ябеда, дак не дай бог... Все ей на ухо нашепчет и про тятеньку родимого, и про старосту, и про сторожа...

Василий в обеденный жар повёл поить и купать коня на речку. Он выскоблил щеткою покусанные оводами бока его, смыл пот под гривую, вывел из воды и повел его в березовый островок, от паутов. Уже на подступах к нему он запнулся на кочке, чуть не шмякнулся на вялую траву и, выгибаясь, узрел парней из старожилого села. Это был Венька Малышев со своей ватагой. Были времена, когда подростками шли ватаги стенка на стенку. Старожилы долго не мирились с пришельцами. Малышева привел предатель с нижнего конца, Толян Красоткин. Василий хорошо видел, как он прячется за спину Данилы Винникова, здоровенной детины с колом в руке. «Порубят», – холодно подумал Василий.

Он привязал коня к березе, заложил пальцы в рот и свистнул, как бы призывая на помощь свои силы! И как только вражий полукруг, огородивший его от своей деляны, отвернулся от него, Василий сиганул через саратовский покос напрямик к селу. За ним с победными гиканьями рванули вражьи силы. Василий летел стремью. Кто-то кинул в него кол, едва чиркнувший Василия по лопаткам. До села он долетел махом, прямо к церкви. Перемахнул через забор, прямо на перепуганную насмерть, задремавшую было Дуняшку. Приставил палец к губам. Девица жестом показала ему чуланчик под навесом, где Домна прятала на ночь перину. Василий шмыганул в чуланчик и прикрыл щелястую дверку. Погоня явилась тут же.

- Чего это вы? – тонко закричала Дуняшка. – Я тятеньке пожалуюсь!
- Васька где, жиган?!
- Откуда я знаю. Кто-то бежал мимо... К лесочку пробежал.

Ватага нехотя вышла со двора и долго долетала недовольная ругань за забором. Василий вышел из чуланчика, долго и жадно пил квас из жбана, стоявший на столике рядом с Дуняшкиной лежанкой.

- Болеешь? – потом спросил он хозяйку.
- Болею, – тихо ответила Дуняшка.
- Ну ты это... Не серчай! Спасибо... это.
- Ты иди через церковь. Не то подкараулят!

В ограде церкви Василию встретился Акинфий, решивший сдуру поживиться в поповском доме вином, до которого он был большим охотником. Василий притаился за калиткой, и Акинфий, наконец заметивший лежавшую под навесом девушку, крадучись и вихляя задом, приблизился к ней. В это время во двор влетела Домна. Она всё же решилась вертануться до дома, чтобы напоить и накормить свою любимицу.

- А ты что тут делаешь?! – рывкнула она за спиной бывшего супруга.

Опешивший Акинфий от неожиданности обмочился. Домна не мешкая ухватила мужичонку поперек спины и выкинула его через забор головою вперед. Новоявленный учитель распластался у ног караулившей Василия ватаги, которая загоготала, как гуси.

- Напугал тебя, донюшка, он? – сменив тон, спросила Домна.
- Кто?
- Дак этот... Ворюга. Акинфий-то.
- А его тут не было. Я спала, няня! Дай мне попить!
- Ну и слава богу! Ну и не было! Никого тут и не было.

Домна, успокоившись, что Дуняшка не видала вора, ухватила жбан, но он был пуст.

– Вот воруяга, – чертыхнулась она. – Счас я тебе малинового морсика принесу. С погребка... Счас... А покушать чего?

– Нет, морсика!

Василий незаметно вышел из ворот церкви и скрылся, уходя назад к своему коню...

На закате молодняк собирал костры и водил хороводы. В них участвовали только девки на выданье. Подрост загоняли в шалаши. Матери строго блюли этот обычай. Пока старшую сестру замуж не выдадут, младшую не показывали.

Женатые мужики разжигали дымовые костры от гнуса и наблюдали издали, как хлопцы разбивали хороводы, стараясь увести в центр приглянувшуюся девушку. От котлов и жбанов у шалашей пахло рыбной похлебкой и квасами.

Василий все затевал кулачные игры и оглядывался на березнячок, где должна была появиться алтайка Зинка. Наконец он увидел её в отблесках костра и тут же пошел ей навстречу. На тропе у первого стожка он поймал Толяна Красоткина и украсил его лицо печатями своих железных кулаков.

Алтайка спешила и пошла за стога, куда и подался молодой кузнец...

\* \* \*

Перед Престолом семьи возвращалась в свои усадьбы. На Великое Повечерие шли телеги и брички, коляски и оседлые кони – всё это опоясывалось вокруг церкви Петра и Павла. Отец Никодим, готовясь к службе, выглядывал в оконце алтаря и думал, что, слава богу, народ сживался, съезжался, сливался воедино. В этом и есть Благословение Божие, считал священник. Уже с середины повечерия молодняк с дальних сел выскальзывал из церкви, чтобы заготовить сушняк на костры. А уж после исповеди сразу начинались костры и хороводы. Хозяйки спешили по домам готовить и стряпать скоромное, дарить куриц и печь кулебяки...

Утром в церковь шли, как на сенокосы, семьями. По обрядливости ещё можно было определить, кто из какой волости прибыл на Алтай и ещё хранит обычаи покинутой своей родины. Крестный ход на Престол был пестрядный, радостный. На самые Петровки литургии опосля затевали Братчину. Какие семьи ещё правили свои обычаи, выставляли столы у ворот своего двора. Накрывали сытно и пьяно. А народ вельможный, зажиточный в этом году собирался у купцов Свиридовых. Сюда послал свой хмель Сидор-кузнец. Утя сготовила ветчину, Екатерина скоптила рыбу. Смолики праздновали отдельно. Поминали всю свою старину. Кто победнее, скромно сидели на завалинках, глядя, как гуляет праздничный народ. Их обносили корчагами с пивом и кулебяками.

На Петровках старый Сидор напился, поминая свою покойницу Параскеву, дочку, неведом где схороненную Варвару. А под конец застолья его постигло горюшко, от которого он не оправился до конца жизни своей. Акинфий, подливая ему пивка и уминая мяско, сообщил кузнецу, что внук его Василий обвенчался с алтайкой у попа-расстриги, того же, что венчал Акинфия с Домною...

За это сообщение несчастный получил колом промеж лопаток, а кузнец пришел в такую ярость, что его держали за ноги. Матронка за одну, а Устинья за другую. Кузнец пытался пинать невестку ногою и орал: – Ты, сука, внесла грех в мой дом... Твоя, сука, воля распочала волюшку!

– Сука я, сука! – причитала Устинья и целовала сапог свёкра. – Прости внука, прости...

– Чтоб ноги его не было в доме моем... Чтоб я этой паскуды алтайской не видал здесь!

– Не будет, не будет!

– Тятенька, прости, – умоляла Матрона.

Кузнец отбросил баб ногами, сел на крыльцо кузни и завыл, как волк...

Ночью уже Пантелей с Устиньей за углом амбара сидели обнявшись, а потом друг против друга и плакали в голос...

На другой день, уже под самый вечер, Сидор пошёл к попу. Отец Никодим не удивился его приходу. Долго молчали оба. Старый кузнец благословения не взял, а только молчал. Священник увидал слезу на опаленном красном лице кузнеца.

– Ты не страдай, – сказал он. – Поп – расстрига, его действия недействительны. Но я съезжу к архиерею на неделе.

Архиерей выслушал его со вздохом.

– Думаешь, один ты едешь ко мне с такой бедою... Рушатся основы России. У вас больше, потому что ещё не укоренились. А дело Савинова пустое. Поп не имеет благодати. Но я снимаю венцы... Нет ведь родительного благословения... Да и венцов нету. Успокой старика... Посажу я, видать, этого расстригу.

Кузнец пожертвовал на церковь хороший вклад и выковал на икону Петра и Павла оклад с серебром. Но в церковь не ходил, и несостоявшихся супругов в усадьбу не пустил.

Василий прокантовался в юрте алтайки с полгода. В декабре навалило снегу. В юрте было дымно вечером, к утру холодно и Василий затосковал по родительскому очагу. Прелесть запретной любви прошла. Алтайка совсем не была хозяйкой, котловое мясо надоело. Ему хотелось пирогов и шанег. Тайно племянника подкармливала Матронка. Сама Утя боялась, кузнец обещал зарубить внука топором. Она только пекла для обоих, как она говорила, любовников. Все знали, что они развенчаны, да венчаными не были...

В Рождество Василий стоял в церкви на праздничной обедне и вернулся с Матроной и матерью в родной дом... Один...

\* \* \*

Сельский староста Афанасий Васильев пришел на Алтай одним из первых по реформе. По Чуманке пашен не было, все лес стоял. Им и строилась Чуманка. Афанасий по дороге задержался у староверов. Там и отпустил свою окладистую, сказочную бороду. Они даже оставляли его, но супруга Аннушка подсказала, что, мол, не построимся, подъёмные государевы, чего доброго, назад стребуют. Деток супругам Господь не дал, и землицы Васильевы взяли на себя немного. За рассудительность и неспешность и видимое отсутствие корысти его сразу выбрали в старосты поселения, он на сем месте и пребывает с честью. Сельские сходы собирает неопустительно. Иной раз и суды разбирает и за жизнью общины наблюдает строго... Как ни кричат мужики на сходах, а последнее слово за Афанасием. В последние времена тревожно становилось в народе. Брожение чуялось. Семьи распались, уставы рушились. Молодежь разгулялась. Воли желала. Оттого Господь и детей не дает. Рази ж это семья – два-три ребенка? Старожилы сказывали, что первой волною семья шла душ по шестьдесят. И никакого разделения семьи не ведали...

Мысль о ходоках-паломниках подсказал старосте священник, а ему – архиерей. Сход расстроился, как улей. С одной стороны, мысль верная – надо! С другой – кто же перед страдою от семьи работника оторвет? После криков и отнеканьев остановились на двоих. Матроне – девка-чернавка, молитвенница и грамоте ведаёт, и Акинфии. Этот вообще общине лишней, толку от него нету, а жрет много. Да ещё норовит стырить чего по мелочи... Липкие руки-то. Решение схода Матрону напугало, а Акишку обрадовало. Тот знал, что не вернется, и бить не будут. А Матрона сроду из села не выходила, кроме как в церковь, дороги не ведали. Куды ей святыни лицезреть...

После поста Великого отслужили всем селением молебен на доброе дело. Матрона собрала в котомку записки на подаяние, деньги да шмутье самое прочное и простое. Акифке доверили сало с хлебом да сушеного мяска с сухарями и ранечко на Фоминой неделе подалась

пара паломников в Баево. Деньги Матрона держала в вышитой Дуняшкой кисе. Дуняша, обливаясь слезами, приговаривала: «Умру ведь без тебя».

– С Домной-то! С Домною никто не помрёт. А уж тебя она из могилы подымет.

До села их подвозил на телеге сторож Тарасий. Матрона сидела за спиной сторожа, глядела на взбитые барашки облаков и втихую пела «Богородицу». Довольный Акинфий глядел на те же облака и думал, что жизнь в очередной раз меняется. И уж на этот раз он не оплошает. Он своё возьмёт! Давно ли его вели по этой дороге в кандалах и шматок сала был для него недостижимым счастьем. А ныне едет на персональной телеге, и всё село провожало его.

Садись на паром, ехали на поезде. У Матронки от всего замирало сердце. Она крепко прижимала к груди кису с деньгами и записками и боялась ино и шевелиться. Кису она держала за пазухой и во сне ощупывала её.

Акинфий словно рыбкою в воду попал. Он оживленно, весело шутил, приставал к дамам, целовал им ручки и врал без передыху, изображая из себя ученого-путешественника. Матрона изумилась его перевороту. Лицо его и то изменилось. Нос, висевший колуном на губах, приподнялся, круглые навылупку глаза замаслились. Особенно Акифка закрутился вокруг одной бабенки в поезде. Это была горожанка, дама в фетровой шляпке с крупными розами. Из-под шляпки рыжели густые тяжелые пряди волос. Глаза, на которые она то и дело напяливалась пенсне цвета неопределенного. Но что-то было схожее у неё с Акифкою. Это были носы. Только мясистый нос дамы величаво подымался, а у Акинфия при его беззубости он падал...

– Рахиль Львовна, – весело представилась ему дама.

Акинфий церемонно тронул ручку дамы, однако Матрону не представил. Он вообще как-то сторонился её в дороге, и Матрона тоже вроде бы глянула на себя со стороны. «Деревенская я совсем, – думала она, – простонародная». Но дама сразу поняла, что эта молодая соседка со свежим и приятным лицом – спутница Акинфия, и уделяла ей самое дружелюбное внимание...

Рахиль Львовна стала поводырем паломников. Она знала всё: где какое пирожное можно купить, где пирожки, где кофе к пирожному и где какие гостиницы в Москве. Акинфий хлестался самозабвенно. Заказывала Рахиль Львовна легко и весело, но деньги таяли, а ещё не было подано ни одной записки в храмы, и Матрона стала жаться.

– Боже, как мне это надоело! – трагически восклицал Акинфий, закинув руку ко лбу.

– Оставьте девочку в покое, – хохотала Львовна. – Её уже не переделаешь.

Однако своих денег она не давала, да и были ли они у неё?

Матрона видела, что эта высокая, худая, сутуловатая, как кочерга, женщина явно приваживает её, Матрону, нимало не интересуясь ухаживанием Акинфия. В Москве Матрона терялась. Все куда-то разбегались, неслись торопко, безумно, звенели трамваи, гудели машины. Матрона ощупывала кису за пазухой и ощущала за спиной цепкую клешню Рахили Львовны, которая, вцепившись в плечи паломницы, норовисто и точно вела её куда-то вперёд. Матрона непрерывно крестилась и утирала слёзы от страха.

Поселились они в гостинице, которую указала Рахиль Львовна. Подле гостиницы был храм Всех святых, и чернавка тщательно поименно переписала часть привезенных записок и подала в свечной лавке и во здравие, и об упокоении. Особо о болящей Дуняшке. Чуть пообжившись, Матрона стала различать народ. Особо в храмах. Узнавала своих, деревенских, баб по незатейливой, непрочной одежке, неброским платкам, некичливо опущенным глазам. Городская баба пофuffyристее, шляпки на них в бумажных цветочках, и смотрит свысока. Со временем Матрона заметила, что Рахиль Львовна обходит стороною полицейских, никогда не заходит в храмы и всё рвётся в Питер на какую-то важную встречу.

Как-то под вечер, оставшись одна, чернавка, сверяя деньги с записками, обнаружила крупную пропажу. Сердце у Матроны захолодело. Она вспомнила как крутился возле их комнаты Акинфий, но всё же решила вначале попытать его. Она пошла к Акинфию, полная решимости, и в коридорчике столкнулась с Рахилью Львовной, которая выходила из мужской

комнаты. Увидав Матрону, Рахиль Львовна отерла ладонью уголки рта и, вдруг громко открыто расхохотавшись, прошла мимо чернавки, дробно стуча каблуками...

Матрона проплакала всю ночь. Большая сторона записок была уже в монастырях, но ещё в узелке оставалось много, а деньги на молебны похищены... Помолвившись, Матрона решила поехать в Оптиную пустынь. Туда как раз направлялись утром алтайские паломники.

По дороге, которой они шли, сидели нищие, среди них было много молодых, и Матрона подумала, почему бы ей не податься в нищие. Глядишь, на часть записок насобирает. Да и чем она лучше вон той девицы в темном платке?! Да и кто её здесь узнает?!

В храме Оптиной Матрона поплакала у защитницы сирот Казанской Божьей Матери, подала на все остатки денег записки да села посеред нищих. За дорогу-то она и поизносилась, и пропылилась, так что от сидящей братии мало чем отличалась. Села Матрона укромненько, стыдась протянуть ладонь, на нее зашишикали, вытесняя из своего ряда, сами нищие. Со временем Матрона поняла, что в этой братии четко распределены свои места и чужаков она не любит. Первый день прошел впустую. Пошла, на слёзы поставила свечку Божьей Матери.

С утра за попытку продвинуться в первые ряды получила подзатыльник и кулак в бок, но перетерпела. Зато добрала поболее. На несколько записок хватило. На третий день почувяла, что во вкус входит. Решила не поднывать.

Сбоку от неё у самого крыльца к погосту сидела благообразная старушка. Она и показала Матроне старцев пустыни, назвала их по именам. Старцы были простенькие, с палочками. Народные-народные. И народ к ним лип. Особенно к Нектарию...

– Кинься к ему, – тыкала её в шею соседка. – Опиши всё как есть... Он милостивый.

Матрона думала, что ни в жись она так не сможет.

Оптина пришлась ей по сердцу. Везде цветы, деревья пострижены. Чисто кругом и благообразно. И больше всего поражало, что народ в монастырь валил волнами, а монахи жили сурово, строго. И с народом всегда и как бы вне его.

Записок в узелке оставалось немного. Но наступали холода. Ветра гнали по небу темные низкие тучи. Ноги отсырели. Матрона спала со своей старушкой-соседкой Ньюрюю под навесом со стороны алтаря, а по утрам уже индевелю.

«Помру, – думала она, – сгину за косоглазого кандальника. А он поди жирует с этой... И смеются над нею...»

Как жатва началась, так крестьян простонародных стало совсем мало. И подаяния хватало разве что на свечу. Матрона все думала о доме. Поди гречиху ссыпали. Домолачивают пшеничку. Скоро озимые пахать начнут... Брагу ставят. В домах вот-вот затопят, и тепло станет, уютно... Помнит ли её тятенька? Поди сердится... Дуняха лишь слёзы льёт. В её памяти Чуманка вставала такой милой, бесконечно родной, и тянуло домой магнитом.

В начале октября Матрона подала в алтарь последние имена во здравие и облегченно вздохнула. Но денег на дорогу не было. Не было и тёплой одежды. Её серенькая паломническая одежонка пообтерлась под навесом, поизносилась, лохмотьями висела на ней, отощавшей, как худая овца. И пахло от нее нехорошо. Как такой возвращаться?! Да и не на что!

Как-то в холодный день дрожала Матрона в сторонке и видела, как толпа ведёт в храм старца Нектария. Матрона посторонилась от него, чтобы старец не слышал её запаха, но монах остановился прямо перед нею.

– Я тебя давно поджидаю, девица! Ты почему не идешь ко мне?!

Матрона огляделась, не поверив, что старец обращается к ней. Но соседка-старушка ткнула её своим остреньким кулачком в шею, а потом с силой толкнула в спину: «Оглохла, что ль?!» И в этот момент словно какая-то сила подняла чернавку. Матрона кинулась к старцу, упала ему в ноги, обняв обеими руками рясу внизу и ткнувшись носом в его ичиги, зарыдала.

– Ну, ну, вставай, дева! Айда ко мне.

– Грязная я, батюшка! Срамно мне, чай.

– Тко... Чиста ты, девка! Ведите-ка мне её в келейку. Да чаю погорячей да послаще дайте нам!

В теплой, уютной келейке Матрону отогрели, напоив чаем с медом, и девица всё рассказала: и как сельский сход отправил их с Акифкой-кандальником и как они её обобрали с Рахилью Львовной, и как она всё до последнего имени подала «за престол».

Отец Нектарий внимательно смотрел на нее. Иной раз он поворачивал своё доброе лицо на иконы и крестился, и на какой-то момент по его умному, совсем нестарческому взгляду Матроне казалось, что он не замечает её обношести и вида, а зреет её насквозь.

– Ну, раз так сомущает тебя твой вид, поди в баньку, потом потрапезничай и вернися к повечерию.

Уже перед закатом, отмытая и переодетая, с благодарными слезами Матрона слушала старца.

– Путь твой крестный, – вздохнул он. – У всего русского народа путь впереди с тяжким крестом, и ты его не минуешь.

– Батюшка, я об соседке своей, старушке... Она и имени мне своего не сказала... Благослови...

– Э-э, – прервал её старец. – У неё свой крест. Ты за нее не переживай. Её имени и я не знаю. Так уж ей Господь повелел, что она несла безымянный крест. Её и без имени вся округа знает. Она вот проводит тебя и пошла по селам. Там поживёт, там помолится, там переночует!.. Её везде примут. Иной раз и ждут не дождутся! Она мне все уши про прожужжала! Прими, мол, девку. Не то ждут меня уже! Вот тебе, матушка, копеечка на дорогу. Да езжай домой. Старый Сидор уж ослеп от горя.

– Ну что вы, батюшка, я пёхом доберуся. Да и какая я матушка? Чернавка я!

– Не перечь старцу! – резко оборвал Матрону келейник.

– Стало быть я, как матушка-старушка моя. Побирушка, – вздохнула горько Матрона.

– На таких побирушках белый свет держится, – ответил старец. – Ходить по земле будешь. Это точно. Только дело у тебя будет другое, матушка!

– А какое, батюшка?!

– Да больше всё по медицинской части!

Матрона раскрыла рот было в усмешке, но глянула на строгого келейника и закрыла его и вновь кинулась старцу в ноги, целовать его ичиги.

– Что ж ты мне ноги мочишь? – пошутил старец. – Им сырость не полезна. Больные у меня ноги-то...

Когда Матрона вышла из кельи старца, то сразу увидела свою соседку-старушку. Она стояла в раскрытых воротах и смотрела на неё. Матрона рванулась было к ней, но старушка поклонилась ей, перекрестилась и исчезла в воротах, как видение. Всю дорогу до Москвы Матрона заливалась благодарными слезами.

В Москве, в единственно знакомой Матроне гостинице, у её порога сидел Акинфий, злой, как черт, шевелил всклокоченной шевелюрой и ждал непонятно чего...

Матроне он обрадовался, как родной. Оказалось, что Рахиль Львовна, как только закончились Матронины деньги, тут же исчезла, оставив его в холодном, неоплаченном номере. Его, конечно, в очередной раз избили. Попытка нищенствовать не удалась: ему никто не подавал. А мальчишки кидали в него камнями. Он долго ныл о своей тяжелой участи.

Матрона покормила его в дешевом трактире, и Акинфий ожил. Он назвал Рахиль Львовну жидовкою, шалашовкою и вообще растленной тварью.

– Присосалась к нам... пиявка! – истерично восклицал Акинфий. – Прикрывалась нами. Её вся полиция России ищет! Воровка! Да ещё... – Акинфий плотно приблизился к уху соседницы, – царя хочет убить! Да, да! Вот те крест! Революционерка!

Матроне стало жаль несчастного. Не больно-то он разжился на её деньги. Но все же узелок с деньгами она держала всегда при себе. Уж больно он часто взглядывал на него. Скучая по Чуманке и родным, Матрона наворотила узел подарков, но как только объявила Акинфию об отъезде, как вдруг явилась Рахиль Львовна. Увидав Матрону, она так радостно раскрыла рот и объятия, будто нашла родственницу.

– Матрешка! Откуда? Вот радость-то! Тебя твой Бог послал. Или дьявол... Едем в Питер. Матрона поморщилась.

– Шучу-шучу! Конечно, Бог тебя послал. Но раз ты появилась так вовремя... Кто-то же тебя послал. Я тебя превращу из Матрешки в Матрону!

– Едем в Питер! – тут же преобразился Акишка. – Мы из деревни сделаем тебя горожанку. Считай, что счастье тебе привалило...

– Денег нет! – решительно заявила Матрона, потрогав машинально пазуху. – И не будет!

– Ну, дорогая моя!

– Я вам не дорогая! Вы мне обошлись дороже.

– Акинфий! Вот что делает церковь с человеком! Где же твое православие, Мотя?

– Я вам не Мотя, а Матрона Сидоровна.

Рахиль Львовна оглушительно расхохоталась. Рахиль Львовна не то чтобы уговорила Матрону взять им билеты до Питера, а просто все одно по пути. И ведь деньги достались ей от церкви, стало быть, нужно чем-то и пожертвовать. Но узел с узелком за пазухой она стерегла зорко...

После ярморочной Москвы Петербург показался ей надменным и вежливым. «Чистый сенатор», – думала Матрона, глядя на отточенные камни величавых дворцов. Службы в церквях шли торжественно и чинно. Матрона как ни жалась, но деньги убывали, а ещё надо было доехать до деревни. Эти двое жили за счёт Матроны. Они все о чем-то перешептывались, и Акишка, ещё недавно называвший Рахиль Львовну развратнейшей жидовкой, вновь пылко целовал её желтую сухую руку и по-собачьи заглядывал ей в глаза. Похоже, что он меньше всего желал возвращаться в Чуманку. Однажды серым морозным утром Рахиль Львовна решительно взяла Матрону за руку:

– Сегодня ты идешь с нами! Будет тебе по церквям лоб бить. Свет увидишь. Истинный! Смотреть не могу на твою дремучесть!..

Пролётка, которую они наняли за её счёт, остановилась у громадины серого здания, каких много в Питере. Но они вошли не в это здание, а в неприметный флигель во дворе. Зал флигелька был полон народа, в основном женщинами. Матрона сразу заметила, что это были не те женщины, которых она видела в Оптиной среди прихожан и, тем более, нищих. Они были черноволосые в основе, худые, стрекочущие, как сороки, суетно и беспрерывно шмыгающие по залу, как бы не видя друг друга, с озабоченными, строгими лицами. На плотных их, торчащих носках в большинстве своем поблескивали пенсне. Многие были в теплых клетчатых шальях на плечах, из-под которых серели высокие стойки широких блуз. Часть женщин удивленно оглядывали Матрону, и та поняла, что одета не ко двору. И вообще весь её простонародно-крестьянский вид сильно отличался от спаянной каким-то единым духом и видом, словно сделанной из одной материи, толпы...

Рахиль Львовна цепко держала чернавку своей липкой, потливой ладонью и тащила за собою. Наконец они с таким же потным, сладковато-пахнущим потоком влились в большую залу, и Рахиль Львовна тяжело ухнула в кресло и потянула Матрону сесть рядом с собою. Зал наполнялся быстро. В этой массе женщин иногда черными, как жучки, пятнились мужчины, худые все, прыгающие, как живчики. Все, что видела Матрона перед собою, было чуждо ей, кроме того, она ощущала тревогу в душе.

Наконец в зале все урядились, уселись, и обнажилась сцена, на которой стоял стол, на нем графин с водою, рядом стул, и величавая дама, выйдя из-за занавеси на сцену, позвонила в колоколец, чтобы все утихло, и начала:

– Господа! Открываем первый Всероссийский женский съезд! – Голова говорящей подрагивала, и словно нервный тик пробежал по её телу. – Это чрезвычайное происшествие, не сомневаемся, впоследствии изменит судьбу России.

Зал затих. Дамы подняли лорнеты к глазам.

– Потому что этот съезд способствует освобождению женщин от семейного рабства и дискриминации!

Говорила дама гладко, уверенно, без запинки. Матрона мало что выловила из её картавой речи, только то, что они собираются освобождать бедных и униженных и что они, собравшиеся здесь, уже освобожденные.

«Мне так никогда не сказать», – вздыхая, думала Матрона. Воздух в зале как бы накалялся. Рядом слышалось прерывистое дыхание Рахили Львовны, и её трепет, созвучный с состоянием зала. Докладчицы сменялись одна за другою. Говорили все громко, нервно, почти на крике.

– Старые ценности давно изжиты, – слышала Матрона очередную докладчицу. – Европа давно освободилась от этой рухляди. Только Россия, эта дремучая старуха, всё ещё держит их, как деревенщина костюмы своих бабок в сундуках. Забитая и темная женщина, она не имеет уважения в семье. Я не говорю об обществе!

Матрона уже было высмотрела, как выскользнуть из зала. Её угнетала какая-то сладковатая спертость воздуха, утомительная трескучесть речей, как вдруг Рахиль Львовна дёрнулась, нервно взвыла и, ухватив Матрону за запястье, стремительно потащила её вперед. Матрона и моргнуть не успела, как очутилась на сцене.

– Вот вам, – пронзительно закричала Рахиль Львовна, – живой образчик всей нашей тревоги! Вот она, темная, забитая, ничего не знающая, кроме церкви. Можно сказать, её жалкий плод, её исчадие!

Матрона вначале ничего не поняла. Она видела полный зал женщин с искаженными яростью уродливо страстных лиц, взглядами тянувшихся к ней. С невероятной силою Матрона вырвалась из цепких коричневых рук своей спутницы и рванулась к выходу...

– Вот до чего доведена женщина в России! – неслось ей вдогонку.

Одним порывом чернавка пробила пенистую в крике пробку дам и вылетела на улицу...

В гостинице Матрона подсчитала деньги и увидела, что узел, приготовленный ею для родни, сильно отошал. Да и денег на дорогу вновь не хватало. И заноза, вонзенная ей в сердце её спутниками, сильно саднила. Но как ни крути, а придется вновь заняться промыслом побирušки.

– Батюшка Нектарий, помоги, наставь, прости, помилуй, – мысленно взмолилась она.

После молитвы на душе стало чуть полегче. С внутренним скрипом Матрона подалась к Исаакиевскому собору. Нищие у собора показались ей поважнее, чем в Оптиной. Как-то посолоднее, даже моложе... Дня два Матрона только и делала, что присматривалась к дамам, к их нарядам и шляпкам. Как они двигаются, как величаво держат себя. Пока не обнаружила, что ей почти не подают. Матрона изобразила несчастное лицо и вдруг услышала над собою:

– Мотя! Ты?! Вот радость-то! Как батюшка Нектарий скажет, так все и сбудется!

Матрона подняла голову. К ней наклонилась румяная деваха в цветастой шаленке с кистями.

– Не узнаёшь? Ну, где тебе! Я ведь за тобою в очереди стояла к Нектарию. Он мне и сказал, что мы ещё встретимся по жизни, Пелагея!

– Матрона!

– Да я знаю. Он много мне сказал про тебя и про меня.

– А откуда он знает. Правда... откуда?!

– От верблюда! Батюшка всё знает! Больше я тебе не скажу ничего. Ты скоко прожила в Оптиной, всех старцев видала – и не понимаешь, откуда они всё знают! От Святого Духа!

– Прости меня!

– Да... Чё с тебя возьмешь?! Я к батюшке собираюсь. Поехали вместе!

– Как же я к нему поеду? С какими глазами?! Он же мне денег на дорогу дал, велел домой возвращаться. А меня нечистые увели... Обобрали и опозорили... Незнамо как...

– Вот батюшка-то и переживает за тебя... Ладно-ть. Ты вот чё... Мне всё одно к батюшке ехать. Я ему и про тебя всё обскажу. А ты пока здесь посиди... посбирай. Подожди меня. А чё батюшка скажет, то мы и сделаем.

Девушка исчезла так же мгновенно, как и появилась.

«Может, её и не было, – подумала Матрона, – а я, бесстыжая, и имя её только и спросила. А кого, откуда... Вот бестолковая!»

Матрона ждала Пелагею две недели. Сырой и серый Петербург пронзил её ветрами насквозь. Но подавать стали много больше. Уже бы и на дорогу хватило да на юбку Уте. Одна дама предложила ей работу кухарки. Все-таки, нищенствуя, Матрона жила в гостинице и часто мылась. Этим она внушала большее доверие.

Раза два появлялся Акинфий, вертелся-крутился вокруг, все выпрашивая, хорошо ли подают. Один раз она увидела Рахиль Львовну в толпе своих единомышленниц. Они шли с плакатами и какими-то странными песнями. Кричали об освобождении женщин. Акинфий, конечно, крутился в этой толпе, жал руки всем подряд и представлялся: «Акинфий! Революционер!»

Рахиль Львовна заметила Матрону и царственно, едва заметно, кивнула ей головой. Матрона отвернулась. Демонстрацию тут же стали разгонять. Когда полицейские вели Акинфию, он кричал, что «он случайный прохожий», потом «помогите, произвол», а потом завизжал, как поросенок. Нищие хохотали, а Матрона не смотрела на них. Ей стали глубоко неинтересны эти люди...

Вечером Рахиль Львовна заявила к Матроне в номер и потребовала денег на освобождение Акинфия и на дорогу «хотя бы до Москвы». Матрона молчала.

– Ну, во-первых, Акинфий твой герой, а не мой, – почти на крике заявила Рахиль Львовна, а во-вторых, благодаря мне ты способствовала прогрессу. Можно сказать, прославилась.

На этих словах Матрона так же молча встала и стала выталкивать гостью из номера.

– Что?! Что?! – заорала Рахиль Львовна. – Да как ты смеешь, нищобродка! Тварь неблагодарная.

Матрона резко распахнула дверь номера, и Рахиль Львовна, пролетев коридорчик, стукнулась носом о стенку. Матрона захлопнула дверь своего номера.

Две недели Матрона ждала Пелагею, сидя посреди нищих у паперти Исаакиевского собора. Уже иной раз сыпала первая осенняя крупка, утрами особенно было холодно. Матрона подумывала купить себе тёплую суконную шаль, какие она видала на плечах тех женщин, но решила поберечь деньги. Уже на Покров Матрона подала за всю свою родню и решила ехать домой. На самой паперти собора на неё налетело радостное, румяное что-то.

– Ой, слава богу! А я уж думала, не дождалась ты... Домой уехала.

– Пелагея! Наконец-то! А я жду и жду!

– Пойдем! Я тебе всё обскажу. У меня для тебя от батюшки Нектария послушание есть.

– Серчает, поди, на меня батюшка!

– Нет! Он сказал, что тебя Божья Матерь остановила! Вот слушай, он велел нам с тобою записаться на курсы.

– Какие курсы?! – испугалась Матрона. – А отец, родня, деревня? Какие курсы!

– Сестер милосердия! Отцу ты отпишешь и денег пошлешь. Попросишь прощения и благословения.

– Да кто меня запишет, такую?

– Какую? Чем ты хуже других! Да если батюшка сказал, значит, так и будет! Часть, сказал он, в деревню пусть пошлет, а часть оставит себе на пропитание. Пропитание, сказал он, у вас всегда будет. Кусками наташат!

– Опять побираться?!

– Нетушки! А пачпорт у тебя есть?

– Его я сберегла.

Вечером подружки пошли в баню. На курсы записали сразу обеих. Выдали им красивые, дорогого сукна форменные платья, белые фартуки и накрахмаленные колпаки с крестами.

– Ух, красавица! – восхитилась Пелагея.

– Да ну тебя! – отмахнулась Матрона и глянула в зеркало. На нее смотрело тонкое, молодое лицо с ровными, правильными чертами. «И не хуже я этих баб», – подумала Матрона.

– Писаная! – в мысль ей подтвердила Пелагея.

Пелагея не была красавицей, но румяная, пышущая здоровьем, белокурая... Хорошенькая, полненькая, деревенская...

Им выделили в общежитии по кровати, с собственными столиками и шкафчиками.

Домой Матрона отписала ночью. Писала со слезами, что скучает по деревне и отцу, но остается учиться. О своих мыканьях не написала. Написала про старцев Оптиной, что они предрекают России большие испытания и что она закончит курсы и вылечит Дуняшку. Про Акинфия написала только, что он жив и здоров...

Письмо и деньги отослали почтовыми.

Учились девицы старательно и охотно. Утром бежали в училище, потом в больницы для практики. Вечерами сидели в публичной библиотеке. Матрона все же купила себе большую шаль на плечи и ходила по Питеру, как настоящая курсистка. Пелагее было все одно, в чём ходить, она не отрывала носа от книг и из больниц выходила затемно.

Как-то Матроне в храме сообщили на ухо, что завтра на крестный ход прибудет сам батюшка Иоанн. Девицы были на занятиях, когда с улицы послышался страшный шум. Звонили колокола, неслись крики восклицания.

– Это батюшка, – с волнением сказала Пелагея.

Девицы вихрем вылетели из училища. По набережной бежали и струились толпы народа. Они бежали вровень и вослед за парохомом, плывущим по Неве. За парохомом плыли лодки.

– Батюшка на пароходе, – кричали в народе. – Иоанн плывет!

Слезы навернулись на глаза Матроны. Вон, посередине реки плыл святой человек, бесконечно любимый и близкий, и трепет народа, и любовь его передались Матроне и захлестнули её. Она обернулась на Пелагею. Та стояла в слезах, они текли солнечной капелью на её шаль, расплывались на крупных розах ткани, и глаза полыхали синим пламенем... Как-то странно на темно-сером небе взошло ярко солнце, и день стал сияющим.

– Посмотри, вдруг солнце! – радостно воскликнула Матрона.

– Вдруг ничего не бывает. Никогда, – ответила Пелагея. – Это наш святой рядышком.

– Пойдем на крестный ход!

– Пойдем!

Крестным ходом Пелагея с Матроной шагали в самой его сердцевине. И от хоров, солнца, белых платков праздничный и ясный, неземной шел свет. Это был свет счастья...

## Книга 2. Пути и перепутья

Зима на Алтай пришла рано. Ещё с Покрова она понавадилась сыпать крупкою на поля и стога. К полудню стерня капелила на первом же солнце и светилась, умытая. А на Димитровой субботе уже заметелило, да так, что ухватило старого Сидора за поясницу. Он залез на печь отогреть кости, чего не делал никогда в жизни. Втайне уверяя себя, что это стариковское занятие его не постигнет. Но родимая глина прогрела его, и Сидор приохотился лежать на печи и глядеть в оконце напротив. Ушлая Утя, чтобы угодить свекру, на время переселилась в его дом, топила печь, выкатывала хлеб и грела воду. На горячих шкурах в сытных запахах сладко дремалось кузнецу, и всё грезилось о Матроне, о покойнице Параскеве, о безгрешном дитяте, оставленном в чужестрании. Он просыпался в слезах и думал, что зря и рано он начал отходить от ремесла. Надо бы ещё постучать, но тут Утя подавала ему на печь горячий пирожок с горохом и кружку взвару из сухих дуль и яблок. «Ну вот, старик, – думал он, – таперя лежи и попёрдывай». Что он и делал...

Сыновья теперь управлялись сами, иной раз заходили за советом. Заказчиков не убавлялось, телеги двумя рядами стояли у двора кузнецов.

Невестками кузнец был тоже доволен. Особо Устиньей. Уж она угождала ему, как дочь. Екатерина была поплоче. Молчаливая каланча, однако обшивала всю семью, выскабливала голяком все дома усадьбы и флигелек Матроны. Всё вроде ладом, только тоска по Матроне съедала и тревожила душу кузнеца.

Куды девалась? Хоша бы весточка какая пришла.

Иной раз кузнец выходил на крыльцо дома. Бело в деревне чисто, просторно. Словно какой хозяйкой выбелено. Куржак по сугробам, что тебе серебро... Вот ить никогда ране он не замечал ничего в природе. Кроме горна и наковальни, ничего не видел. А Матронушка моя видела...

После Николы-зимнего в каждом доме поселения начинали сбивать мясо на пельмени, которые лепили впрок. На Святки...

Утя приперла из погребца чугунную латку с мясом и долго искала секарку, которой они секли мясо, а по осени капусту с овощами. Екатерина молча пристроилась чистить и резать лук. Тут же подлетела Надейка, и Екатерина оторвала ей шматок теста и дала детскую скалку, выточенную для нее отцом. Старый кузнец вышел на крыльцо, встал, глядя на ряды телег и мужиков за заплотом. К воротам подлетела косопятая алтайка Зинка. В бытность, когда алтайка ещё прилаживалась в невестки Савиновым, Утя, как бы невзначай, подрезала ей литовкою пятку. Так, чуть-чуть уголок срезала, но пригрозила: «Липнуть будешь, переломаю ноги...»

– Васька дома? – спросила алтайка кузнеца.

Но тут вылетела на крыльцо Устинья с пельменем в руках.

– На что тебе Васька? Чего тебе от него надуть?

И тут Устинья заметила, что из кузни выскочил вовсе не Василий, а Иван, и довольно ухмыльнулась.

– Дура ты, – вдруг вздохнул, заметив ее ухмылку, свёкор. – Ты думаешь, ей Иван нужен?! Глянь-ка, невестку уязвила. Ты бы лучше подумала, почему она вокруг нашей усадьбы кружится. Ей усадьба нужна, а не кузнецы. Того гляди пожжет!

Устинья застыла с пельменем в руках. «И впрямь мстить задумала, паскуда, – подумала она. – Ну я-то тебя достану, а ты вот, сука косопятая, тронь меня...»

– Эх, бабы, бабы! Куриные у вас мозги. – Кузнец плюнул и хотел войти в дом, как его окликнули.

– Дома хозяин ли? – У калитки стоял староста Афанасий Васильев.

– Ну, коль он хозяин, стало быть, дома, – ответил кузнец, раздумывая про себя, чего это его черти принесли. Вроде налоги уплачены.

– Весточку тебе принёс!

– Чёй-то?

– От дочери, Матроны Сидоровны!

– Чёй-то?! – Кузнец побелел.

– Вот тебе и чёй-то!

Письмо было от Матроны. Его читали в храме после службы, а потом и на сельском сходе. Все, кому Матрона передавала приветы, а их набиралось почитай всё село, Матрона знала, как писать, те довольно крякали. Как открывали, стали обсуждать, какими испытаниями грозят старцы России.

– Однако войною.

– А войны ить давно не было, мужики!

– Да с турецкой! Война будет. Хлебушек бы поберечь!

О войне толковали во всяком доме с утра до вечера и мараквали, как бы чё приптятать да припасти...

«Таперя Матрона не чернавка, – думал довольный кузнец. – Грамотная девка, на курсах учится».

– Теперь уж вы её Матроной Сидоровной кликайте, – сообщил он на сходе и указал себе на грудь большим пальцем. – Сидоровной! То-то!

«Уважила дочка, – думал на слезах старик, возвращаясь со схода. – Не ваши пигалицы!»

Ничего, что дочка далёко, зато внучка растёт. Надейка словно услышала внутренний призыв деда, подлетела к нему, уткнулась носом и обняла его колени.

– Ишь ты, птаха! Соскучилась?

– Да, соскучилась! – Надейка встряхнула маленькой куделью светлых кудряшек и показала мелкозернистый рот...

Надейка уже забывала молитвы, которым учила её тетка Матрона, но стала чаще бегать в дом попа, к Дуняшке. Ей она сообщала последние вести о братке Василии, о том, что он дерётся со старопржежными, а алтайку в дом не пускают: «Ей ноги переломают, – сообщала она. – Но ведь на коне она будет ездить?»

– Будет-будет! – успокаивала её Дуняшка, доплетая белую косичку.

Странное чувство овладевало Дуняшкой, когда она слышала о ковалях, как их кликали в деревне. Отец Никодим, тятенька, их не любил. Спесивые, резкие, самовольные. Домна их тоже не жаловала: «О, летять ястребы-то», – ворчала она, когда алтайка с Васькой пронеслись мимо поповского двора. Всё это внушало послушной девиче страх. Васька, конечно, красив какой-то жгучей, жиганской красотой, синими искристыми глазами, летящими из-под чуба. И она боялась признаться себе, что эта красота странно волновала гладкую тишь её души и притягивала её...

Надейка выростала быстро. Она уже сама плела косы, была хохотулькой, лёгкой на ноги и часто посмеивалась над неуклюжей Домной.

– Ну, погоди, – грозила ей в отместку Домна. – Вот выдадут тебя за нелюбова, гоготать-то перестанешь. Ишь, дерзкая какая! Кузнечиха!

– Типун тебе на язык, – огрызнулась Надейка. – Я замуж совсем не пойду! Как Матрона!

– Не пойдешь, не пойдешь... Полетишь!

Как-то Надейка в глубокой тайне поведала Дуняшке, что Антон Морозов как-то особенно поздравлялся с нею при встрече.

– А у меня сердце прям как-то, как птица, встрепыхнулось.

Дуняшка улыбнулась.

– А раньше-то не трепыхалось?

– Раньше нет.

Морозовы пришли в Чуманку последней волной. Пришли прасоломами, к шапошному разбору. Поскольку прасолы в Чуманке были не нужны, во всех дворах поселяне сами со скотом управлялись, то Морозовы попытались кузнечить. Тут на дыбы встал кузнец Сидор, ревниво охраняющий свою единственность. Пришлось Морозовым раскорчевывать новую поляну, пахать и сеять. Помочью поставили им дом. Сам Морозов – мужик грамотный и сына грамоте обучал. На этом они сошлись с попом Никодимом.

Священник очень быстро понял выгоду от новых поселян и записал Антона в учителя приходской школы. Учитель пел в церковном хоре, учил деток Аз-Буки и выписывал для школы Азбуку и календари. Кроме того, учитель ввел моду выписывать на приход газеты, которые читал и объяснял в школе. В приходскую школу повалило поселение, да так, что сторожу Тарасию пришлось колотить скамейки, и получалось вроде второй сходки. Потому староста Афанасий присутствовал на чтении газет.

Антон даже предложил устроить нечто вроде избы-читальни для таких сходок. Но помещения для того не нашлось...

Жизнь с приходом Антона вокруг церкви закипела.

Надейка стала примерной прихожанкой, стояла у самого клироса, исподволь глядя на тонкого молодого человека с русой опрятной бородкою, светлые глаза которого нет-нет да взглядывали на юную белокурую прихожанку.

Красивый, статный, зеленоглазый, обходительный в речах, Антон Морозов очень быстро завоевал сердце отроковицы. Бывало, всё выглядывала Надейка в оконце, а завидев издали молодецкую фигуру учителя, тут же выливали и полные ведра воды и шла навстречь ему с ведрами на коромысле.

Антон, приостановившись, кланялся.

– Доброго здоровьичка, Надежда Пантелеевна!

– И вам того же, – потупив очи, чуть слышно отвечала она.

Поглядки их тянулись до весны, а после поста, на Пасхальной, целуя её в желанные уста, шепнул:

– Сватов пришлю, Надежда Пантелеевна?

Надейка зарёю полыхнула и низко поклонилась.

Но старик-кузнец на дыбы встал. Сватов в ворота не пустил.

– Не пойдешь за голодранца! Даром мы всем семейством мантулились, чтобы ты за голодранца пошла?! В заплатах не ходила? Походишь! У их одна телка во дворе, и то от голодухи падает! Не бывать тому! За купца пойдешь. Вон Данило Винников всё ко мне соседится. У их табунов одних сколь. И золота полно... Со всем Алтаем торгуют... И чтоб мне не пикнули!

Пантелей, который сроду своего мнения не имел, вопросительно глянул на Устинью, потом крякнул и пошел в кузню. Иван ухмыльнулся, но решил, что встречать не след. Бока-то свои, не чужие. Он полного слова своего не имеет, деток нету. А бабы вообще, окромя горшков, ни на что не имеют права.

Устинья, однако, давай виться вокруг свёкра, что повилика, а к вечеру как-то, подав ему из погреба наливочки, запела: «Тятюшка! Пожалей кровь свою. Чего ей жись-то мучиться? Женишок-то умом скорбен... Все знают. Не с мощной же ей любиться. С мужиком. А какой там мужик?!»

– Что-то?! – расвирипел кузнец. – Цыц! Разинула лохань свою. Самой терпежу не хватило, подлезла под дурака... Вся зараза от тебя по роду прет. Оно что Пантюха твой, что Данило – два бычка одинако... Твой уж и не мычит, ничего – живешь!

– Будет уже вам, тятенька, на меня наговаривать. Я замуж честным венцом шла. И всё как положено. Девье мое маменька на свадьбе выносила.

– Выносила! А кого наплодили? Все супротив воли отца идут! Васька чего понатворил?! А эта за голодранцем бегаёт. Не хлебала мурцовки-то. Каши березовой не жрала! Не то отведаешь!

– Тятенька!

– Цыц! Запорю обеих!

Свадьбу назначили как отойдет Пасхальная. Надейка уливалась слезами. Дуняшка, которая стала посредницей их любви, целовала её в пробор гладко причесанной головы и утешала как могла. Сама она из больной отроковицы уж давно выровнялась в красиво зреющую девку и под непрерывным надзором вездесущей тетки набирала вес и здоровье на воздухе. И о любви не помышляла, и о семье тоже.

После светлых седмиц Надейка вдруг занемогла и слегла в жару. И всё-то ее лихотило. Позвали знахарку с дальнего края.

– Чего? – подозрительно спросил Сидор.

– Чего... Чего... Сурочили...<sup>1</sup> Чего!..

После сего бабка чего-то всё пришептывала да кружила вокруг болящей. Выводила сглаз на воду, кропила святой водою.

В общем свадьбу перенесли на Покров. Купцы хотели вовсе не брать порченную невесту, но нареченная так полюбилась Даниле, что он ни о ком больше слышать не хотел.

Надейка тут же выздоровела. Выздоровление приписали знахарке. Домна подозревала, в чём тут дело, но только качала головою, а Дуняшка смеялась: «Вот притворщица!»

Влюбленные встречались в чуланчике, что над головою Дуняшки. В этот чуланчик Домна прятала на ночь перину с подушкой из-под Дуняшки.

Надейка было попыталась записаться в приходскую школу, но глава семейства ударил молотом по наковальне.

– Ешо чего! Будет страмотиться-то! Итак по всему селу-то... языки исстрепали про кузнецов. Мало вам страмоты. Девку учить. А пряхть кто будет?!

– Я бы училась!

– Ты ба и замуж за голодранца полетела.

– Дедуля, а Матрона?

– Цыц... сказал. До Матроны тебе, как до Русалима. Пыхнешь – лепешку из тебя сотворю! Ишь, рот разинула, поськуха! А туда же, Матрона ей...

Летечко пролетело, как птица. Оглянуться не успели в огородах да на сенокосах, а уж Успение подкатило.

После службы Надейка нырнула во двор к Дуняшке, которая немедля сунула её в чуланчик. В сухой полутьме обе долго молчали. Надейка подставила ладошки солнечному свету, текущему сквозь щели, и утёрла слёзы.

– Что ж мы такие несчастливые, Антон Макарович?

– Что ж делать, Надея Пантелеевна, видать, доля наша такая!

– Что ж мне, таперя всю жись дурака терпеть?! А душа... Она ж живая, Антон Макарыч!

– Зато без нужды проживете. У Винниковых два терема да скота сколь... Барыней жить будете...

– Барыней! Да они работницу берут!

– Да у них батраков полон дом. Я сам у них первые годы батрачил.

– Да вы никак сами меня сватаете за Винникова! – возмутилась Надейка и ринулась к дверце.

Антон перехватил её, и девушка птахой забилась в его руках.

---

<sup>1</sup> Сурочить – сглазить, испортить.

– Шуткую я, Надежда Пантелеевна! Сватаю! Да я, как увидел вас у речки, так только о вас и думаю. Преподаю сказки Пушкина деткам, они глазенками лупают, а мне кажется, ваши глазенки на меня глядят. Вон они, глазенки ваши. Ишь, как светятся! – Он поднял её голову и поцеловал глаза.

– А я как подумаю жизнь прожить без вас, – всхлипнула Надейка, – дак лучше утопиться. Давай убежим, Антошенька!

– Дак куды ж мы убежим? Нас везде догонют!

– В Камень уйдем! Я прачкой устроюсь.

– Прачкой! Да нешто я зверь какой? Да разишь я позволю? Вона ручки у вас какие беленькие, Надежда Пантелеевна. Вам барышней быть, а не прачкой.

Тут со двора донесся мужичий кашель, и хриплый голос церковного сторожа Тарасия произнес:

– Ты, Дуня, учителя нашего не видела?

– Не-т! А на что он тебе?

– Дак картуз у церкви оставил, раззява!

– Дайте мне его. Он к тятеньке... батюшке придет, я верну. Беды-то!

– Дак возьми.

Влюбленные притихли. Надейка глядела в щель чулана. Как Тарасий ушел, она приснула смехом.

– Эй вы там! – строго прикрикнула Дуняшка. – Вылазьте, не то Домна счас явится.

Как только Антон вышел, Тарасий тут же обернулся.

– Пойду церковь мыть, – растерянно доложил он Антону.

– Да, да, ступайте!

– Чего ж её не мыть... Святая ить...

– Да, да, ступайте.

К Дуняшке Тарасий питал отцовскую жалость и потому очень встревожился и пошел к отцу Никодиму доложить о своём видении.

Священник знал свою дочь. Он уже понял чувства, какие питали друг к другу его молодые прихожане. Перед повечерием поп зашел к дочери под навес. Он был в полном облачении, в нарядной камилавке по случаю праздника Успения.

– Не знобко тебе? – спросил он, крестя Дуняшку. – Пора бы уж в дом переезжать?

– Нет, тятенька, я не мерзну. Хорошо мне здесь. В доме душно. А по ночам такие звезды... Август ить...

– Ну, ну, смотри, а то простынешь... Мать сердиться будет.

– Я тепло укрываюсь, тятенька. Домна приткнет меня со всех сторон. И я дышу... А почему в августе такие звезды?

– Это созвездие Персея. – Священник выписывал много журналов, всё читал и считал своим долгом просвещать свою паству.

– Как красиво – созвездие Персея... Я, тятенька, всё на небушко смотрю. Ночью звездопад, днём облака.

– Всё Бог ладно устроил! – Священник вздохнул. – Но сильно-то не заглядывайся... Там ить не только Бог, но и демоны.

Отец погладил дочь по голове, завел ей выбившуюся прядь за ухо. Помолчав, он сказал внушительно:

– Чадушко моё, суженого ить Господь посылает. Судом Божиим, с небес.

– Ведаю, тятенька, – кротко ответила Дуняшка, понимая, о чем идёт речь.

– Судьбу ведь на кривой кобыле не объедешь. Только своей волей сломать судьбу можно.

– Правда, тятенька, правда. – Дуняшка не подымала глаз.

– Если кому дано быть супругами, человек да не разлучает. Не трогай чужую судьбу, дочь... Её сам Господь управит.

– Жалко Надейку, тятенька!

– Ещё ничего не известно, как все оборачивается. Нельзя противиться воле Божией. Да и плетью обуха не перешибешь!

Отец Никодим встал, поглядел за ворота:

– Однако осенью тянет. Все, дочка, переезжай в дом!

– Я ей сколь об этом талдычу, – вздохнула подошедшая Домна. – Ну ить она у кузнецов переняла... поперечность енту. Как ты, батюшка?.. Ножки-то ноють?..

– Ноють, сестра!

– Я тебе настою сделала на травах. Дюже крепкое. Небось поможет...

– Спаси тебя Христос!

Домна подала любимице крендель с яблочным взваром и, увидав подошедшего на повечерие старосту Афанасия, поклонилась ему.

Все трое смотрели, как тянется народ к повечерию. Чинно, соблюдая иерархию, празднично одетый... Строго держится, без болтовни, кланяясь друг дружке. Сразу за селом зрели поля, и ветерок доносил их сытную сладость. Из долины пастухи, стараясь успеть к вечерней службе, гнали скот, который недовольно помыкивал...

Афанасий и священник переглянулись... Укоренилось село. Уже и не поселение составное, а единый, спаянный народ, сжитый церковью, свадьбами, крестинами, кумовством, пашнею, сенокосами... Слава богу за всё!

Подошел сторож Тарасий.

– Что ж, батюшка, звонить, нет ли ко Всенощной?! Не то полна уж церковь-то...

– Как не звонить? Звони!

Все трое подались к храму.

Василий подлетел к воротам в хвосте. Недолго раздумывал, потом стеганул своего жеребца и помчался к алтайцам.

– Весь в деда! – приговорил его староста Афанасий. – Все копейки подобрал!

– Ничего! – ответил священник. – Господь управит.

– Ага, поправит! Горбатого могила исправит!

Последней из чуланчика выскользнула тенью Надейка. Она утерла ладошкой губы, поцеловала Дуняшку и степенно подалась в храм...

\* \* \*

Частая бессонница то и дело гостевала последние годы у кузнеца Сидора. Оно, конечно, и старость. Куды её денешь! Но, если пораскинуть умом, то годы его не такие уж старые. Он вышел из Чернигова крепким, сильным мужиком. Прошел пешком, почитай, всю Рассеюшку, дитя ещё народили с Параскевою – Матронку-умницу. Усадьбу поставил самую видную в Чуманке. И силушки ещё полно, он бы мог и жениться ещё. Да старую хоронить, да на лекарей тратиться. Они ить все пройдохи... А молодая баба разрушит такой ладный, трудами великими сотворенный уклад жизни. И дело было не в крепости его тела. Он, Сидор Карпович, потомственный кузнец из самых кузнецов, распорядившийся, как государь, своею жизнью и округой, почитай всею, не держит он, всевластный Сидор, не держит свою семью. Она утекает сквозь увесистый кузнечий его кулак, как вода через сито. Конечно, во всём он виноватил свою утконосую невестку Утю, первой порушившей дедовский быт Савиновых.

«Уж больно наливка, которой потчевала его толстозадая сватьяшка, купчиха Лукерья, была хороша», – думал кузнец, ворочаясь на старой перине ночь напролёт. Он вспоминал, как веретешкой кружилась вокруг него сдобная купчиха, прикрывая грех дочери. А Сидор

на лесть-то бисову всегда падкий был... Но дело, пожалуй, не в этом. А дело в Параскеве! Вот что открыл он для себя с полным удивлением. Пока эта тихобздея была жива, и семья была в укладе, и всё шло положенной чередой трудов, забот и праздников. А с её смертью всё перекоилось... Утя, какая она ни наесть, а семья для неё – всё. Она её пока держит. Катька – она никакая. Живет бесправно, как батрачка... Матронку бы... Нежли её молитовки были подпоркой после смерти матери... Значит, правда за попом... Ну уж дудки! Внучка замуж честью пойдет! Как положено...

К Покрову отстрадали. Убрали и овес, и гречиху, домолотили пшеничку. Солому отскирдовали и сенце. Начинались свадьбы.

– Теперь всё, – обливалась слезами Надейка. – Руки на себя наложу, а жить с нелюбым не буду.

– Ты язык-то укороти! – строжила её Дуняшка. – Грех и молвить такое! Нечистый поймает на слове! Аль нехристь? Молись, говорит мой тятенька! Господь управит!

– Тебе хорошо за тятенькой-то! И заболеть не страшно!

– Тебе тоже не страшно будет! Винниковы – богатеи куды с добром. Жить будешь в шелках и шляпках. И Данило смиренный, как телок. Стерпится – слюбится. Что он, твой Антон? Не мычит, не телится!

Надейка замахала на подругу руками и залилась слезами.

– Э-э, девки-девки! Чего языки-то не бережете?! Данило, он муху сроду не обидел. Не битая, вот и не понимаешь счастья своего... Да и болтают, что приданое-то отправили давно...

На приданое старый кузнец не поспешил. Чтoб не ударить лицом перед купцами, отправлял внучку не хуже купчихи. Две перины, перо к перу, двенадцать пухом набитых подушек, овчинные полушубки, тулуп нагольный, два сундука бабьей справы да дальний табунок лошадей отходил молодым.

Добра у кузнеца хватало, а вот деток-то только Васька и оставался. От Надейки приплод уж будут не его наследники – купеческие. Иван жил бесплодным, ровно прожег свои яйца. Васька – ветер, надо бы его заново женить, да как бы он чего ещё не выкинул. Да и подмога внук добрая, работать умеет.

Уже после Петрова, в холодный ветреный день перед самою свадьбою Василий подошел к сестре.

– Слышь, Надюха, тройку к церкви подгоню, убогом пойдете со своим учителем!

– Куда я сбегу? – тоскливо ответила Надейка. – Тятеньку опозорю... Дед мать нашу прибьет!

– У алтайцев поживёте с годок, а там в ноги кинитесь. Простит дед!

– А приданое?!

– Тебе что дороже – жись твоя или приданое?! Добро-то – дело наживное.

Тройку Василий пригнал прямо к воротам церкви, как раз в тот момент, когда на паперть в ожидании невесты вышел сам жених Данило Винников. Данило, купеческий сын Семена Винникова, рослый рыжеватый детина, с детским выражением конопатого лица, парень послушный, но совершенно лишенный какой-либо самостоятельности. Говорили, что когда его матушка Василиса Васильевна ходила Данилою, то на раскорчевке пашни на нее упала лесина, оттого сынок родился скорбенький. Но дурачком он не был вовсе. Чуть задержался в детстве от избалованности и излишней родительской заботы. Прост он. И когда ему указали нареченную, он полюбил её в тот же миг и навсегда, в простоте и детской чистоте своего нетронутого разума. Когда подъехал свадебный поезд невесты, Данило кинулся к разукрашенной лентами и бумажными цветами коляске с такой силой, что его едва воротили и поставили у аналоя.

Антон на венчание не явился, сославшись на болезнь. Дуняшка из боязни расплакаться на церемонии тоже осталась дома.

Снега Покрова уже пали, и в окна церкви бил молодой упругий снег предзимья. Василий подошел к коляске с другой стороны и вопросительно глянул на сестру. Но Надейка чуть заметно и отрицательно мотнула головой.

Она стояла у аналая, как каменная. Данило не сводил с неё счастливых глаз. Когда запели «Исайя, ликуй» и повели новобрачных вокруг аналая, Надейка глянула на клирос, увидела, что Антона нет на месте, и слеза выкатилась из её глаз...

Домна стояла у дверей соглядатаем и потом докладывала Дуняшке, как проходит церемония.

– Каменна стоит, – спокойно сообщила она племяннице. – Прямо чистый камень. Ни кровинки в лице.

– Может, сживутся?! – с надеждой вздохнула Дуняшка.

– Сумлеваюсь! Я кузнецов знаю. Не приведи господь с имя связаться!..

Свадебный поезд, красивый, как молодая змея, шумный, с гиканьем и песнями прокатился по поселению и покатил в соседнее стародавнее село к богатым купцам.

Столы у купцов ломились от снеди. Хозяева не считали копейку, угощение и животину не пожалели, и вина наставили дорогого, купленного. Кузнецы сидели по правую сторону от молодых, с ними рядом их сваты – Устина родня. По левую сидели купцы Винниковы и их родня. Как чин соблюли, пошла гулять Русь-матушка, свету белого не видать.

Сидор давненько так не гулеванил. А Василиса Васильевна, ещё нестарая, увешанная бусьём, вся в атласе да шаялах, зорко следила, чтоб ни один гость, особенно почетный, трезвым изо стола не вышел. Чуть чего, давала знак – и несли и поили во славу Божию, от души, да так, что к проводам молодых глава семейства Савиновых уже не трепыхался на перине в дальней горнице. Рядком с ним бездвижно раскинулись его сыновья: Пантелей с Иваном, а Василий на огородчике дрался с язвою Колянном Красатиком, давним своим вражиной, посмевающим опустить шуточку насчет невесты.

Василиса Васильевна, баба мудрая и степенная, была довольнехонька: все шло положенным чинарём. Правда, один раз она поднялась с графинчиком вина и курицей в спальню молодых. Устинья было двинулась с нею, но её заплясали, затерли к двери... Василиса хорошо знала своего сыночка и, поставив снесь на стол, она тут же перестелила проверенную ране гостями постель молодых, расстелив на перину новёхонькую простынь с пятнами куриной крови. Она делала это, чтобы не позорить сына, который вряд ли подойдет к супруге в первую ночь. Хоть бы через месяц подошёл. И то постараться придется...

Утром второго дня свадьбы, когда свадебное застолье ждало выноса чести невесты, в спальню поднялись свахи Устинья с хозяйкой. Они увидели молодых, угрюмо сидевших по разным углам спаленки. Василиса сразу поняла, что сделала правильно. Она откинула одеяло и показала Устинье кровавые пятна...

Простыню торжественно вынесли на обозрение свадьбы, с поклоном передали Устинье. Старый кузнец с победоносным видом налил себе стакан царской водки и выпил залпом. Пантелеймон сидел, как истукан, глядя на всех умными, всё понимающими очами. К вечеру кузнецы вновь обрели свойство стелек, и свадьба ещё гудела, но как-то выдыхалась!

На третий день гости стали разъезжаться. Молодые не выходили на провода.

– Робеют, смущаются, – объясняла Василиса, провожая гостей. – Собя вспомните...

К молодым Василиса вошла уже по темну. Данила сидел один, свесив свою чуть поросшую рыжиной голову на грудь. Постель была в том же виде, что оставили ее сваты. Надейки не было нигде. Потоптавшись по усадьбе, Василиса вышла во двор и увидела след босой ноги на свежей крупке снега. Поняла, что молодая сбежала в одной рубашонке и босиком...

Надейка летела через темный лес, ничего не понимая и не соображая. Голая крупка была ей в разгоряченное лицо. Каменеющая уже, обжигала пятки. Громадная осенняя луна неслась ей навстречу. Пролетев через поля, она рысью подскочила к своей усадьбе и перескочила

заплот. Дома она упала на половицы в кухне и только и вымолвила: «Деда, пожалей меня... Я не могу с ним жить!»

Тяжелая тишина, которая нависла над головами остолбеневшей семьи, не предвещала ничего хорошего. Только через несколько минут Сидор понял, какой позор свалился на его голову. Он механически ухватил вожжи со стены.

– Пантелей! – истошно закричала Устинья.

Пантелей вскочил из-за стола, потоптался вокруг распластанной дочери и при первом же взмахе вожжей вылетел из кухни. За ним выскочил Иван.

Кузнец хлестал беспомощную внучку злобно, яростно, с одним желанием – убить, уничтожить, чтобы духу не было.

В избу было залетел Василий, но дед хлестанул его по лицу, которое тут же вспухло, разрезанное окровавленным рубцом. Устинья увидела окровавленное месиво своей дочери на полу и плашмя упала на неё, обороняя своё чадо своим телом.

Наутро Устинья, едва поднимаясь с постели, прикладывала к телу дочери травяные примочки, которые принесла Дуняшка.

– Не пожалел ты свою кровушку! – едва укорила Утя свекра.

– А вы меня пожалели?! Честь рода пожалели? Пусть-ко сдохнет лучше! Всё одно выгоню.

Надейка лежала в бане, на полке, и Устинья, подтапливая баньку, обливала дочь травяным настоем. Потому что притронуться к дочери было невозможно. Она кричала от боли. Василий косил на деда злыми глазами, но молчал. Сама Устинья ходила синяя от рубцов и подтеков, но дочь не бросала. Хозяйством управляла Екатерина.

Кузнец Сидор ел и пил один за столом и в доме, как при покойнике, хранилось скорбное молчание.

Как ни странно, поселение не осудило Надейку. Как ни крути, – не старые времена-то, – судили даже старики.

Приходил староста Афанасий. «На сход вынесу!» – грозился.

– Гляди-ко! Вынес! Своё гавно выпорол, что от живого мужа убогом пошла. Да я и сам уйду из общины.

– Забогател ты, Сидор. Зазнался! Забыл, кто тебе дом ставил, пашню корчевал. Зерно на посев собирал! Кто?!

– Дед Пихто. Я все долги отмантулил!.. На праздники давал, на братчину давал. Попа не обходил. Кого ешо вам надеть?! Уеду к чертям собачьим.

– И где ж они, твои черти? Тьфу ты, Господи, и скажет же!

– К кержакам уеду!

– Ступай, ступай! Не сдохнем!

– Сдохнете не сдохнете, а в мой уклад не совайтесь!

Иной раз украдкой Сидор заходил в баню. Надейка лежала черная, отёкшая, с кровавыми ссадинами. Старый кузнец плакал. «Вот ведь как, своя вошь кусает», – думал он.

Пантелей ходил темный, как туча, но молчал. Дуняшка носила настои и читала молитвы. Никто в доме не обсуждал происшедшее.

К Рождеству Надейка начала помаленьку вставать. Сидор велел перевести её в светёлку. Василий попытался как-то укорить сестру, мол, я попу-расстриге и задаток дал, и тройку пригнал... Но увидел слезы на щеках сестры и замолчал...

Отец Никодим служил о здравии рабы Божией Надежды молебны и строго взглядывал на Антона. Учитель ходил бледный, ни на кого не глядел и ни с кем не заговаривал. Один раз попытался испросить Василия о здоровье Надеи, но Василий полоснул его взглядом из-под своих смоляных бровей и, плюнув ему в ноги, молча прошел мимо...

На Святках в Чуманку привели Акинфия. Он пришел, как водится, в кандалах, исхудавший, обросший, с ликом великомученика, который он списал по дороге у одного прохвоста, собиравшего на дороге дань в кружку якобы на монастырь.

– Батюшка, как я страдал, – первое, что сообщил Акинфий священнику, которому конвоир сдал его под подписку. Он закатил глаза и смачно вздохнул: – Меня били, как святого!

Его впрямь избивали по дороге трижды: раз, когда он собрал мужиков вокруг себя в сибирской деревушке и, рассчитывая на сало, сообщил им, что Бога нету, всё врут в церквах... Договорить ему не дали. Второй раз – он сам, не ожидая от себя, ухватил за задницу купчиху, проходившую мимо него. Надо сказать, предмет был внушительного размера и так равномерно колыхался, что руки Акинфия вцепились в него, как коты в мышей. Били бедолагу приказчики купца, шедшие сзади своей хозяйки с покупками. Власть, надо заметить, побили. Ну а третий раз его почистили, когда он уселся у дороги с большой тарелью собирать милостыню, как тот его прохвост, якобы для храма, и так ненатурально гнусил, что обратил на себя внимание и его кто-то узнал как революционного демонстранта в Питере. Тут уж его бока обласкали до переломов.

Отцу Никодиму Акинфий поведал, как он страдал за веру, даже слезу пустил, искренно себя жалеючи. Потом высказал боевую готовность управлять школой прихода. На что ему было сказано, что место занято, и он отправился кормиться по селу, в основном доедая остатки обедов купцов Молотовых и кузнецов. Домна, слушая росказни своего несостоявшегося муженька, прослезилась и тайно подарила ему тёплые носки. Расчувствовавшись, Акинфий было решил приударить за этой стареющей громадиной, но его бока напомнили ему, чем это может закончиться.

Почти сразу в Чуманке появилась Матрона, младшая дочка Сидора. Ей всё обстоятельно описала Дуняшка письмом в Питер, присогубив мысль, что Надейка может и не выжить. Нужно лечить девку!

Матрона Сидоровна Савинова уже много лет жила в Петербурге. За эти годы они с Пелагеей закончили медицинские курсы. Пелагею взял в ученицы знаменитый Пирогов, а Матрона практиковалась сестрой милосердия в полувоенном госпитале под попечением Елизаветы Федоровны, сестры царицы Александры. В эти годы Матрона изменилась. «Мадамой», как шутила Пелагея, она не стала, но в ней с трудом можно было узнать прежнюю деревенскую чернавку. Колпак и белый фартук с крестом на груди, густые, гладко причесанные волосы, косы вокруг ясноглазого, ещё чуть по-детски круглого, но уже взрослеющего лица, а главное – походка. В ней исчезала порывистость и появлялась плавность и уверенность. Служила Матрона доброй и сердечной совестью. Солдатики – основные пациенты госпиталя, её любили. Пелагея звала к себе.

– Учиться тебе надо, – возмущалась она. – Тебя сколь раз посылали! Чего артачишься?!

– Я своё место знаю, – спокойно отвечала Матрона. – Мне и этого хватает по за глаза. Как сказал батюшка Нектарий, если угодно Господу будет, приму ангельский чин. Только куды мне... Матрене!

– Образование и монахине не помешает!

Если Матрона как-то облагородилась, то Пелагея огрубела. Она уже оперировала самостоятельно. Исчезала её округлость. Румянец ещё держался, но потускнел. Она уже не носила цветастых шалей и деревенский полшубок сменила на темные теплые жакеты.

– Что тебе привезти? – спросила её Матрона на прощание.

– Аленький цветочек! – радостно ответила Пелагея. – Алтайский!

Встреча отца Сидора с дочерью была слезной. Матрона заметила, как постарел кузнец. Седина плотно выбелила и развеивала во все стороны поредевшие его кудели. Но главное, изменились его походка и взгляд, в котором появилась неуверенность в глазах, когда-то беспощадных и дерзких, в походке появилась робость. Надейка подросла без неё, и у неё опреде-

лились черты деда. Братья же не изменились, такие же молчаливые, покладистые, смотрели с удивлением на столичную сестру и слушали во все уши о северном далеком городе. Теперь уж никто не звал Матрону чернавкою или Мотею, а была она Матрона Сидоровна, и при таком обращении к дочери кузнец высоко задирает свою бороденку. Матрона же почтительно целовала отцу руки и об избиении им Надейки не промолвила ни слова. Сразу начала готовить примочки и снадобья для племянницы и Устины.

– Смирилась бы ты, – однажды молвила Матрона Надейке. – Он ведь, Данила, толковый в работе-то, смирный. Всё наследство отцово ему отойдет...

– А Морозов?! – задыхнулась Надейка. – Я без него жить не могу!

– Сможешь, девочка! – вдруг кротко вздохнула Матрона. – И жизнь ты без него проживешь!

По выходным Матрона посещала церковь и, слушая возгласы отца Никодима, грешным делом она как бы отлетала от молитвы и видела себя девочкой рядом с матерью, которую так любила, что удивлялась всю жизнь – как она пережила её смерть. И как любила она службы и верила в ангелов, словно видя их воочию. Она и сейчас верит, и вера её окрепла, но с этой крепостью исчез тот наивный, детский трепет... Но ей в этот приезд стало особенно жаль отца. Может, никогда раньше она не думала, что так любит его, постаревшего, оскудевшего силою и властью. Она поняла, что избиением внучки он нанес большую рану себе, и очень жалела его. И Надейку, молодость которой брала верх, племянница выздоравливала. И жаль было Васька, красивого жигана, самовольного, задиристого пахана чуманского подростка. Батюшка всё грозил Василию эпитимией, что для того было равнозначно грозить древнею Элладю. Он и в церковь перестал ходить.

– Яблоко, оно ить от яблони... – вздыхал священник, – далеко не падает. И как-то странно и внимательно вглядывался в дочь. По запискам, подаваемым в алтарь во здравие, он узнавал почерк дочери, особенно крупно и четко выводящего имя отступника...

«Это Матрона, – думал священник, – она учит. А впрочем, ничего плохого в молитвах о болящих духом нету», – успокаивал он себя. Дуняшка с Матроной и впрямь читали единовременную молитву «по соглашению» о многих поселянах.

Надейка выкарабкалась из своей болезни. Зимой она не появлялась ни в церкви, ни в селении. Винниковы нанимали своё жиганье обмазать ворота ковалей смолою, но Василию донесли, и он встретил чужую ватагу у ворот и отдубасил со своими подельниками непрошенных гостей во славу Божию.

– Говорил тебе: беги, – укорял он в который раз сестру. – Тройку нарядил... Перины пожалела!

Надейка молчала. Она не говорила ему, что дело было не только в приданом её, а в том, что Антона-то не было в этот день ни в церкви, ни на тройке.

Василий вскидывал на сестру дерзкие, въедчивые глаза отца, и они загорались синими алмазами. Красивым выдался Василий, чего уж там. Не глядя на его славу, многие бы девки в округе пошли за него. Но Надейка думала, что брат нет-нет да погуливает с алтайкой, которая ястребом кружит вокруг усадьбы Савиновых. Учиться Василий не захотел. «Чего там твой Антон наскажет! Я и сам всё знаю!» – ухмылялся он после первого же дня сидения в приходской школе. Нестерпимая скука овладела им от этих «аз» и «буки». То ли дело – гнать табуны в степь или пахать, пьянея от бражного духа земли... Или стоять с отцом у наковальни и подчинять себе едкий огонь в горниле... Наука не для хиляков, считал он. А Васька – мужик сильный, сам смекалистый... Зачем ему наука?

В июле государевым Указом объявили войну с немцами...

По селу заиграла пьяная гармонь, и заголосили бабы. Мужиков почитай под чистую забрали. У Савиновых решением схода оставили Ивана. Без кузнецов никак, а Сидор уже не управлял, как ранее, кузней...

Проводы были укладистыми. С молебнами, с гармоникой, плясками, драками, последней супружеской ласкою и слезными прощаниями.

– Немца мы видывали, – напутствовали старики. – Его соплей перешибешь, а он всё на рожон лезет!

Алтайка Зинка летала вокруг гулянок на своем жеребце, как бешеная.

– Ишь, вызывает! – заметил Сидор Пантелеймону. – Проститься хочет... Пусть только, сука, сунется!

Пантелей привычно смолчал. С годами он замкнулся наглухо. Семейством управляла Утя, старый Сидор иной раз разгоношился власть показать, но больше для фору. Иван с Екатериной жили наособицу, и Пантелею, уже седевшему, оставалась в жизни одна отрада – его ремесло.

Утром новобранцы собрались у церкви. Отец Никодим отслужил молебен. Бабы выли, девки пели протяжно и печально. Дуня стояла у раскрытых ворот и кого-то искала глазами.

– Дуня! – вдруг зычно крикнул Василий. – Жди меня, я вернусь! – И так зычно свистнул, что у его соседа заложило ухо.

«Дурень, он и есть дурень», – недовольно пробормотал священник и, опустив в чашу кропило, смачно окатил Василия святой водою.

Дуня улыбнулась и перекрестила в воздухе Василия.

– Россия на дураках держится, – услышал попа кузнец. – А умники тока и болтают. Дураки вон и куют, и воют...

Алтайка, услышав Василия, стегнула бок своего жеребца и пролетела мимо церкви, что ворона.

На другой день Матроне пришла грамота, вызывающая её в столицу... В госпиталь.

Начиналась Первая мировая война...

\* \* \*

Пелагея встретила Матрону на вокзале. Окликнула громко и радостно:

– А я высчитала, когда ты приедешь. И точно! Хотя я хожу сюда уже третий день... А нонче гляжу, вылезает моя кулёма... А где твой чемодан? – Она оглядела узелок Матроны.

– А племяшке отдала, он ей понравился. А куды мне чемодан... Кого туда класть? Сарафан один.

– Чемоданы дарить – к дороге тому, кому дарят!

– А ей и надо из деревни уезжать!

– В общем так! Я перевела тебя к себе в Царское. Будем работать вместе, у Карла...

– У Карла?

– Ну, немца... Немец чистой воды... Но хирург, я тебе скажу... Учись во все глаза. Правда, правда... Он нам с тобой по молитвам батюшки дан... Нектария... Правда, правда. Ой, стой, куды прешь... Деревня!

Пелагея грубо оттолкнула Матрону с дороги на дорожку и согнулась в глубоком поклоне, рукою нагнув подругу. Матрона склонилась поклоном тоже, но, механически подняв голову, увидела кавалькаду колясок. Ехала царская семья. В середине её, в лакированной черной коляске, ехала дама в громадной шляпе и тонколицый молодой человек, тоже в треуголке с перьями и светлых перчатках. Он посмотрел на выпрямившуюся Матрону и мягко улыбнулся ей, чуть кивнув головою...

Когда процессия проехала, Пелагея выпрямилась и отряхнулась. «Ея императорские величества, – сообщила она. – Они здесь часто бывают». И Матроне стало как-то неловко за свой деревенский узелок и платочек. «И неумытая я с дороги», – подумала она. Ей хотелось

допытаться у Пелагеи про того молодого человека в коляске, но что-то остановило её. Поди насмехаться будет...

В госпитале Пелагея представила Матрону хирургу новому, с которым она теперь работала.

– Это моя ассистентка, Карл Петрович, о которой я просила Вас.

Хирург глянул на Матрону режущим взглядом и чуть приподнял горбатый клык носа. Нос его белый, костистый, рубленый, как утёс. Над ним узкие прорезы белых глаз. Губы в шнурок и остренькая пегая бороденка. Пелагея звала его Карлом, а Матрона подумала, что он не столько Карло, сколько цапля. Ноги его прямые и тонкие из-под овального брюшка, да ещё сюртук с фалдами на задку. Пальцы белые, чуть крючковатые и держит он их всегда на уровне лица, вроде как манерничает. В общем, не красавец!

Пелагея благоговеет перед ним так же, как благоговела перед первым своим учителем – Пироговым. Она вообще очень любит учиться и ловит каждое слово и движение Карла и не позволила себе ни одной улыбки насчет внешности или нерусского выговора своего учителя. Хирург Карло резал народ, как куриц, без всякого сожаления отбрасывая ампутированные конечности в большой ящик. Зато у него никогда не было гангрены и гнойников.

«Лучше убрать часть тела и спасти тело», – было его девизом.

Работали слаженно. Пелагея училась у Карла, а Матрона стала тенью Пелагеи. Госпиталь располагался в самом центре Царского Села, и члены царского семейства частенько появлялись в его стенах. Это был красивый госпиталь, ухоженный. С широкими коридорами, просторными палатами. Сестры были чистыми, прибранными, сновали меж палат, как большие белые бабочки. Среди них было много дворянок из знатных семей. Они были чрезвычайно скромны, ходили по коридорам, не подымая глаз, и Матрона во всём старалась им подражать.

Сама государыня-императрица посещала этот госпиталь со своими царственными дочерьми, нередко дежурившими в палатах. К царственным особам строго не разрешалось приближаться или достаивать их особым вниманием. И они старались не отличаться от белых голубок, как звали всех сестер милосердия раненые. Матрона чувствовала их приближение по едва уловимому тончайшему запаху духов и тому благородству, с которым они держались. Но их узнавали и, едва приседая, всегда смотрели во след этим красивым, окутанным как бы незримой аурой существам неземного происхождения...

Пелагея время от времени пилила подругу, вопрошая: «Почему ты не учишься? Ты ведь и сама можешь резать». «Не хочу я никого резать, – думала Матрона. – Это противно Богу – входить в человеческое тело». Но об этом она молчала. Её место было рядом с раненым народом. Она ухаживала за солдатиками с истинной любовью, ничем не брезгуя.

Шел уже третий год войны. Число госпиталей умножалось, голубки белые уже слетались в стаи. И они смешивались, сливались в единый род, без всяких классовых различий. Знатность смешивалась с крестьянством, мещанство с разночинцами. Все были едины, работали спокойно и несуетливо, в единой любви к раненому солдату, зачастую выходяцы из крестьянства. Матрона не раз видела, как сестры милосердия «из барынь» тайком клали в котомки выписываемых инвалидов-солдат деньги или вещи. Она сама приберегала для такого же случая монеты.

Как-то под вечер перед Рождеством они с Пелагеей присели на лавочке у входа в госпиталь. Подмораживало. Сад индевел, белея, исчезала сырость. В помещение уходить не хотелось... Пелагею тут же позвали к солдату, а Матрона смотрела на нарождающийся Сочельник, ясную ладейку месяца и звезду над ним. Она внове вспомнила тятеньку, мать, колядки под Рождество с Дуняшкой, Васьком, ухающей раскрашенной Домной и Акинфием, который ворвал у них Коляду и съедал тут же все лакомства. «Сейчас Коляда идет по Чуманке», – думала Матрона. Она подмерзала, но в палатах запах крови, стон и сырая тошнотворная духота. «Ещё чуть посижу», – думала она, задремывая, и увидела Чуманку свою, тятеньку, Утю, которая

тащит из погребков куль пельменей, кадушку с маслом и яйца, и свиное стегно на разговение. И, словно войдя в дом, услышала запах сдобы, и тепло протопленной печи касалось её щек. Воздремала она сладко, проваливаясь в сытный рай далекого и родного дома. И сей раёк прорвал бархатистый чей-то баритон, нежно выговаривающий над нею по-французски. Потом она почувствовала сильный тычок в бок, услышала громкий голос Пелагеи:

– Государыня изволили проследовать в третий корпус.

Матрона открыла глаза, увидела перед собой красивое лицо, внимательно глянувшее на неё, мягкие темные глаза. Душистые усы молодого господина чуть не коснулись её носа. Матрона испуганно отпрянула, господин резко поднялся с корточек и улыбнулся ей.

– Пардон, мадам! Я не хотел вас будить.

– Она не спала, ваше высочество, – испуганно затараторила Пелагея. – На морозе ить не уснешь.

– Да, да, ещё раз прошу прощения, мадам. – Молодой князь откланялся, глянул на Пелагею из-под темных блескучих своих бровей, кивнул Пелагее и вошел в госпиталь...

Красивый, как Бог, холеный... Венценосный... Матрона только сейчас поняла, кто перед нею был, и от обиды на себя чуть не заплакала.

– Какой красивый! – прошептала она. – Кто это был?

– Это же великий князь, молодой Иоанн. А ты развалилася. И мороз тебе не мороз! И ведь не привстала!

– Я не поняла сразу, спросонья-то...

– Дрыхнуть надо меньше!

А князь Иоанн, увидав дремлющую на морозе девушку, поразился её детски целомудренному, дивному, как ему показалось, выражению лица. «Как дева русская свежа в пыли снегов», – думал он, шагая по коридору в поисках императрицы.

– Ну, будет, вставай, раненых привезли. Я за тобой и вышла, – ворчливым тоном приказала Пелагея. – Карло ругается!

В эту ночь молодой князь приснился Матроне. Он уходил во сне, подымаясь по воздушным волнам в небесные выси, а она смотрела в статную его спину, хорошо видела стриженный ровный затылок, тянулась к нему, но какая-то сила не давала подняться ей по дымным ступеням. Достать его она не смогла... Проснулась Матрона в слезах. Сердце её колотилось. Такого никогда не было с нею. Какое-то странное, неведомое, сладковато-тревожное чувство овладевало ею... Оно обратилось в первую великую тайну её души.

Он время от времени мелькал в её жизни. То она видела его в проезжавшей мимо царской карете с кем-то невидимым, оживленно беседующим, и тогда Матрона, если была одна, долго смотрела вслед карете, а если была с Пелагеей, то отворачивала от спутницы лицо, чтобы скрыть волнение. Она не исповедовала свою блажь. «Все же это и не помысл даже, – оправдывала себя Матрона, – а я не монахиня, чтобы и помыслы исповедовать».

Великим постом она услышала, что великие князья, среди которых был и Иоанн, отбыли на фронт. И она усердно молилась о них, особо останавливаясь на его имени и каждое свободное времечко проводила в церкви, ставя с молитвою свечи во здравие раба Божия великого князя Иоанна. А под самое Вербное воскресенье по госпиталю пронеслась весть, что везут раненого князя Иоанна.

Поднялась суматоха. Освобождали для него палату. Искали каждый закуток, чтобы разместить из неё раненых, а они всё прибывали и прибывали. Когда Карло распределял график дежурств в палате великого князя, Матрона встала, зная, что она не попадает в этот график, она была уже у дверей, как Карло назвал её имя. В палату, где лежал великий князь, Матрона принесла пучок освященной вербочки. Она несла её сразу из храма.

Пасха была ранняя. Выпал ночью снежок. Питер дышал свежестью. Кое-где стучали пролетки, и было много русских, светлых лиц. Выходящие из храма после обедни бабы в белых

праздничных платочках шли неспеша, торжественно неся пучки вербочек перед собою. Это торжественная радость, волнение чувствовались повсюду, и город казался ей светлым в своём серо-каменном величии, несомненно, державно-прекрасным. «Таких городов больше нет на свете», – думала Матрона. И благодарила Бога, что он позволил ей ходить по этим тротуарам. О предстоящем дежурстве она боялась и думать, только унимала волнение в груди при мысли о нем.

В госпитале чувствовалось волнение: сама государыня изволили посетить родственника и сейчас находятся при нем. Карло, почтительно полусогнувшись, стоял у дверей палаты в ожидании выхода царственной особы. Ночью он делал царственному больному операцию и уверил императрицу, что рана неопасная. Пуля удалена из руки, и рана тщательно обработана. Как только царица вышла, Карло проводил её на своих прямых тощих вороньих ногах, опуская вниз пупырчатый утес грубо вырубленного носа, потом вошел в палату, посидел пять минут, зевнул и, подзвав Матрону, велел ей находиться подле больного.

– Лоб трогать... мочить губ и лоб, – велел он ей. – Обед перевязать...

Матрона вошла в палату.

На деревянной резной кровати в белых простынях лежал великий князь, молодой, бледный, с закрытыми глазами, длинный и худой, с явно обозначенным под простыней костистым телом. Он не открыл глаза при скрипе открывающейся двери, но когда Матрона подошла ближе и положила ладони ему на лоб, проверяя его горячность, князь открыл глаза, покосился на сестру, явно узнал её, чуть улыбнулся и вновь закрыл глаза.

Лоб его был горяч, и губы белые. Матрона перекрестила его, потом в приготовленном с вечера настое мяты с ромашкой смочила марличку и приложила ко лбу князя, аккуратно обтирая ваткой его лицо.

– Какие мягкие у вас руки, – прошептал он, – шелковые...

И Матрона ужаснулась, что они пахнут карболкой. Она стала смачивать их своим настроем. Потом сидела у медицинского столика у дверей, не сводя глаз с больного. «Какой хороший день, – думала она, – стыдно признаться, ведь он страдает, а мне счастье глядеть на него...»

К обеду пришла Пелагея. По-хозяйски откинула простыню и, чуть присев, тихо сказала:

– Нам придется перевязать вас, ваше высочество.

Она раскрыла медицинскую банкетку и громко приказала:

– Пинцет!

Матрона не шевелилась. Она не знала, как прикоснуться к этому ухоженному, но довольно мускулистому телу.

– Ну! – прикрикнула Пелагея. – Остолбенела иль?..

Рана была розовая, чистая. Обработала её Пелагея, а Матрона закрывала и перевязывала.

Вечером Матрона осталась на дежурство подле князя. Иногда он просил пить, и тогда Матрона, смочив в святой воде просфору праздника смачивала ему губы. Он слизывал воду с размягченной просфоры и, кажется, слышал внутреннюю Богородичную молитву, которую читала Матрона в этот момент.

К утру князю стало лучше, лоб остыл. Он открыл глаза и улыбнулся ей. Матрона зарозовела и присела перед ним.

Пришел Карло, склонился перед ним на своих птичьих ногах и резко каркнул:

– Можно поить... Ложечкой. – И что-то ещё выговорил по-немецки.

Пелагея прочистила ещё на раз и перевязала рану сама.

– Чего у тебя руки трясутся?

– Устала, – пробормотала Матрона и отвернулась к окну.

К обеду прибыла царская чета, и было решено перевести князя во дворец. Когда царственная свита покинула палату, Матрона подошла к больному, чтобы напоить его вволю. Она

приготовила питье с настоем и просфорою. Когда князь Иоанн напился, потом вдруг взял её руку и поцеловал её.

Сладким ужасом наполнилось сердце Матроны. Поцелуй огнем горел на коже руки.

– Сударыня, – тихо сказал князь своим бархатистым баритоном. – Я не спрашиваю ваше имя, и вы не сообщайте его. Оставайтесь в моей душе безымянной... Образом любви и милосердия. – И отвернулся к стене.

Вскоре молодого князя увезли в Зимний. Матрона стояла в опустевшей палате и не сводила глаз с отъезжающего кортежа. Слезы текли из её глаз, и она не вытирала их. Поцелуй князя Матрона перевязала бинтом, чтобы долго не смывать его.

– Что у тебя с рукою? – спросила Пелагея.

– Порезала.

– Покажи!

– Пройдет.

– Покажи, я обработаю!

Но в это время раздались стук, разговоры и окрики. Санитары заносили в палаты кровати для раненых и, размещая их, все время толкали мешающую им Матрону.

– Ну, пройдет, так пройдет, – устало согласилась Пелагея и, закрыв глаза, засыпала стоя. – Всё проходит и это пройдет, – пробормотала она уже в полусне.

\* \* \*

Уже отошли Покрова, отслужили молебны благодарственные отжинок<sup>2</sup>, без гуляния и браги, хороводов и песен...

Притихла Чуманка. Война отдавала безмужичьем, бабьим воем и проходимцами. Нищие пошли по селам, чего никогда и не было. Бывало монахи-расстриги шли, а столь нищих Чуманка не видывала. Ослабела и баба в войну. Не удержит хозяйство-то. Под нищеврод попер гуляющий всех видов... Народ стал запираться, чего никогда не было, стали выпускать собак и заводить их.

А главное, молодняк забродил, воли захотел. Оно ещё до войны пенилось чуток... А в последние годы в деревне появлялись чужаки. Они подсаживались на лавочки и произносили неслыханные речи. Что воевать нельзя и войну пора прекратить, говорили супротив царя и Бога. К ним сразу примыкал Акинфий, который на ухо сообщил им, что он сосланный революционер, и однажды, обнаглев, начал повторять слышанные им в Петербурге речи... Били его крепко, с глубоким знанием дела, поскольку он визжал, как поросёнок, что пойдет в полицию.

Очнулся утром, занесенный первым снежком в подмерзающей канаве. Зубы стучали, в неразжимаемом кулаке кусок сырого мяса от бараньего стегна, который он волок от сапожника Ефима, у которого вчера и кормился. За это стегно он и получил в основе, а потом уж за речи, которые никто не слушал.

Акинфий попытался подняться, но избитое тело не слушало его. Тут он услышал скрип снежка. Крикнуть не мог, но замычал. Кто-то нагнулся над ним, он открыл глаза и вновь зажмурил их. На него глядела Домна.

– Ты почто не сдохнешь-то? – услышал он глухой её голос. – Долго ти мотать будешь усех?!

Акинфий ответить не мог, а только и открывал жалкий беззубый свой рот.

Прорвав грудки жалкой его одежды, Домна вытащила его из глубокой канавы и, сунув, как бревно, под мышку головою вперед, тяжело ступая по белому пухлому снегу, понесла во двор церкви.

---

<sup>2</sup> Отжин – конец жатвы, отжинки.

– Куды его?! – спросила он брата.

Отец Никодим глянул на несчастного и, зажмурившись, отвернулся. Он хотел сказать: неси обратно, где и зачем взяла, но это было бы не по-христиански.

– Вот до чего может дойти человек, – сказал он. – Ну, помой хоть его. Да к Тарасию, что ль... За печку...

Баня после Покрова была ещё теплой, и вода в котле не совсем остыла. Домна бросила в топку три полешка, раздела мужичонку и кинула его в деревянное корыто. Пораздумав, взяла с полки покупное мыло и тут увидела голое тщедушное существо со всклокоченными волосенками, робко прикрывающее крючками рук тот орган, которым он безуспешно пытался сделать её супругою своею... Домна окатила его шайкою воды и стала ожесточенно тереть мочалкой. Акинфий взвизгивал от боли, перехватывал губами, пытаясь как бы поцеловать её руки, за что получил кулачищем по носу. И когда Домна увидела его, чистенького, голенького, с беззубым провалом беспомощно раскрытого рта, то всплеснула красными мясистыми руками:

– Господи, почто же ты понаделал их – таких? Ни к чему ить не гожд! Воровать и то не умеет. Бьют дурака чем ни попадя.

Акинфия одели в бельишко и добротную одёжу бобыля Силантия, отдавшего на Успение Богу душу. Заминка произошла с поселением Акинфия. Сторож церкви Тарасий решительно воспротивился против соседства с Акинфием.

– Он у меня в прошлом годе на Пасху посох упёр! А я его вырезал из осинки, чтобы не гнил. Любо-дорого было с им ходить! Сухонький был, что тебе пушинка, лёгок. А он, сволочь, цыгану его продал на росстани. Не пуцу ворюгу!

– Пусть тогда в избенку бобыля отправляется, – решил отец Никодим. – Двор выморочный... Как раз по нему...

Домна вывела Акинфия за ворота. Чуть было не наградила пенделем, да пожалела. «Придётся подкормить его», – подумала она и утерла взмокший от умиления нос концом платка.

Священник Никодим смотрел на сестру из окна своего домика и думал, что женщины – существа неразгаданные. Сколь он живёт со своею молчаливой матушкой, а как она была отстранена от него, так и осталась закрытой наглухо. Сестра вон плачет во след мужичонке, чуть не переломавшему ей жизнь. А что будет с Дуняшкой, с этим ангелом в слабенькой, едва теплящейся плоти?

– Тятя, с Чуманки пришли, просят мать соборовать, старуху Тамару.

– Цыганку, что ль... С чего это?

– Говорят, болеет!

Священник обернулся. Сын его Алеша стоял перед ним в вышитой сестрою рубахе и вопросительно смотрел на отца. Он вытянулся за последний годок, темный пушок пробивал верхнюю губу, а глаза смотрели просто и доверчиво. С ним хлопот не было в семье. Послушный и растет здоровеньким, в отличие от сестры.

– Ступай, собирайся. Поди пешком доберемся.

Отец Никодим надел на себя рясу, епитрахиль, поцеловал крест и нечаянно глянул в зеркало. Годы уже подбирались и к нему. Седина убелила виски, и глубокие морщины пролегли на лбу. Он не то чтобы болел и уставал, но чувствовал какую-то тяжесть в груди. Вроде и семья на месте, все целы, но странное предчувствие перемен ощущалось даже в воздухе. Да, старики умирали. Вот уж готовится Тамара, черноокая, когда-то красавица, которую на селе звали цыганкой. Примерная прихожанка, все молебны и службы... Все при ней... А замены ей нету. Сыновья выросли заплотные. Гулять бы да воду мутить. Почитай в каждом дворе червоточина. Ещё и война воли добавила. Всё на бабах. А где ж она сама управится? Уж Покров отошел, а сколь полос у солдаток несжатых стоит... Священник оглядел ожидающего его сына. Вроде Алексей ладно растет... Только бы с жиганами не связался... Типа Васьки-коваля.

У проулка они встретились со старым кузнецом Сидором. Старик наведывался к старосте Афанасию, узнать, нет ли весточки с войны. Тяжелая дума омрачила лицо ковача. Словно молния грозовая перекрасила его судьбу и рода Савиновых. Сыновья ни во что не вмешиваются, а хозяйством управляют бабы. Устинья больше. И как ни старается утконосая угодить свекру, как ни подносит, ни уносит, а не по душе ему невестка. И родила всего двоих, а та вообще не родила, и единственный наследник, выходит, Васька, вообще где-то у черта в турках. И вернется ли... Дочь – птица светлая, тоже выпорхнула из дома. Вот и живи бабьим двором. Намедни разодрались невестки из-за тряпки какой-то, а мужики стоят, глаза лупят. Посмотрели и разошлись.

А главное – тягу потерял Сидор Карпович к жизни, к ремеслу. В кузню почти не заходит.

– Тятя! – как-то заметил ему Иван. – Так ведь в разор войдем!

– Цыц, – осадил сына Сидор. – Раз-зо-р! А вы на што?! Мантульте! Я своё отмантулил...

Две отдушины остались у кузнеца. Внучка Надейка-беляночка, да радость похода к свату Устину Молотову, тянуть брагу, а чаще винцо под яблоней у него в саду. По воскресеньям Сидор, когда невестки уходили в церковь, шел на погост, где сколотил себе скамеечку у могилки жены и жаловался ей обо всех нестроениях в семействе. Он был уверен, что она слышит его и поправит устройство семейства так же незаметно, как делала при жизни.

– Алтайку-то уברי, – просил он. – Кабы опять не порушила чё... Летает вороньём. Ваньку смущает ноне. Оно кабы рожала, а то ить бесплодная сволочь, а туда же в семью лезет... – И уходя как-то, добавил: – А Матронку ты зазря отпустила! Зазря! Плохо без неё мне... И без тебя плохо...

Дуня мало-помалу, а поправлялась. Окрепла. Пела на литургии и помогала Антону Морозову в школе. По вечерам она читала поселянам газеты, вести о войне, и народ жадно слушал и ждал указов о её конце. Домна всегда сидела у дверей в черных балахонистых блузах и, подперев щеки кулачищем, со слезами глядела на племянницу. Хотя она и забыла, что Дуня – дочь брата, считая её своей дочерью...

На вечерних посиделках бывали и священник, и староста. Отец Никодим не упускал случая прочитать ещё проповедь, объясняя газетные вести и чуманские события.

– И куда народ всё рвется? Куда?! На Кудыкину гору! Вот ушел из общины Савва Исто-мин. Плотник был... поискать такого. На старосту обиделся. Прибыл из хохлов Демьян Тертычный. В одних портках. Ораву пацанов привел. Горох один. Приняли, подмогли... Дом воз-вели...

– А я печь сбивал! – сердился печник. – Копейки не взял.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.